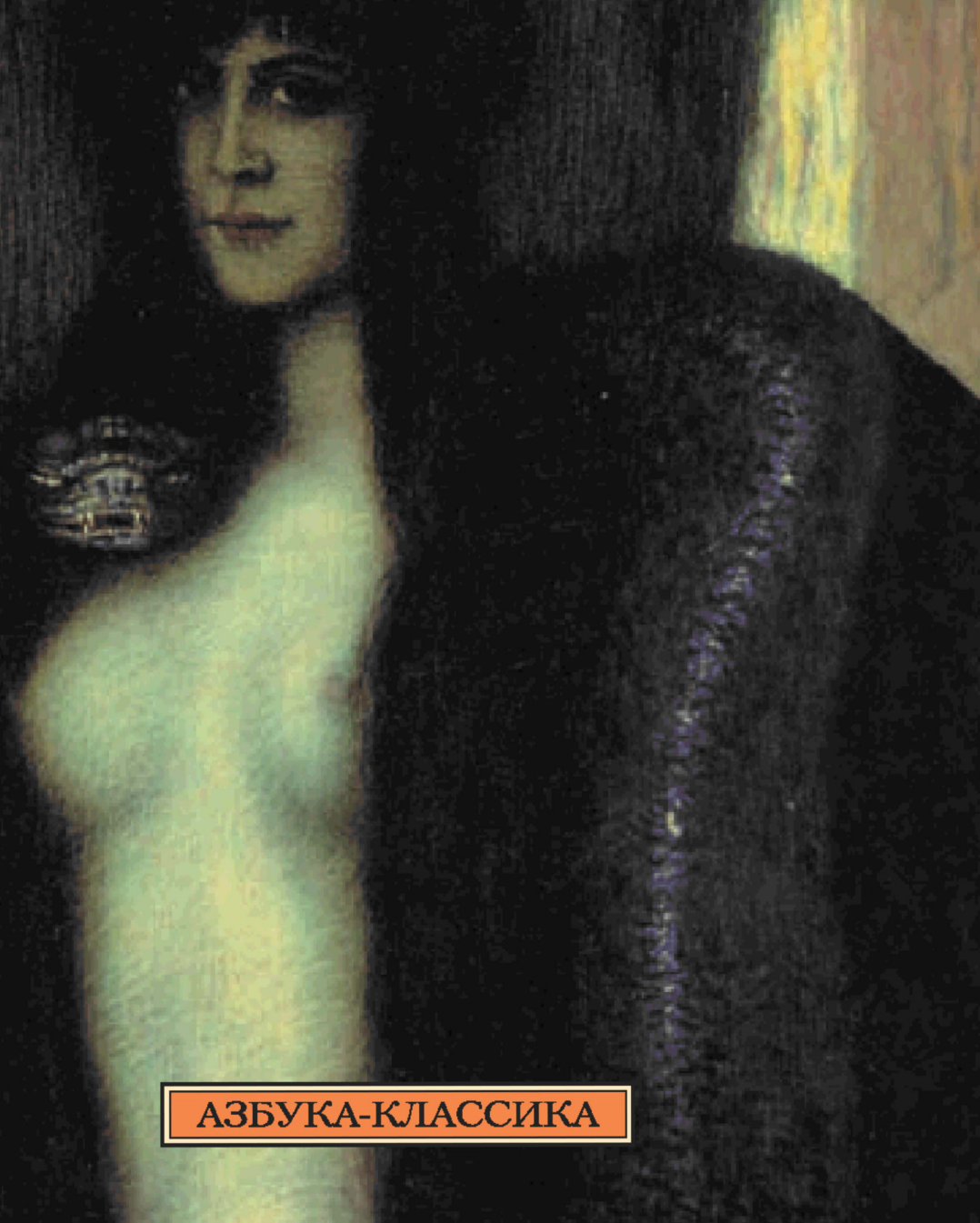


ЛЕОПОЛЬД ФОН
ЗАХЕР-МАЗОХ

Венера в мехах



АЗБУКА-КЛАССИКА

Leopold
von SACHER-MASOCH
1836 – 1895

Леопольд фон
ЗАХЕР-МАЗОХ

Венера в мехах

Роман



Санкт-Петербург
2012

УДК 82/89
ББК 84.4 А
З 38

Перевод с немецкого

Оформление обложки
Валерия Гореликова

Захер-Мазох Л. фон

З 38 Венера в мехах: Роман / Пер. с нем. —
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. — 224 с.
ISBN 978-5-389-02099-3

Скандально знаменитая книга австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в мехах» (1870) прославилась тем, что стала первой отчетливой попыткой фиксации и осмысления сексуально-психологического и социокультурного феномена мазохизма. В настоящем издании текст «Венеры в мехах» предваряется вступительной статьей, вводящей читателя в биографический, литературный и философско-культурологический контекст сочинения Мазоха.

УДК 82/89
ББК 84.4 А

- © Л. Полубояринова, статья, 2004, 2005
- © В. Пожидаев, оформление серии, 1996
- © ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2012
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-02099-3

«ВЕНЕРА В МЕХАХ» И ЕЕ АВТОР

«Я написал уже довольно много, прежде чем решиться на такую вещь, как „Венера в мехах“, и... должен признаться, в Германии данное направление составило моему творчеству дурную репутацию, потому я и склоняюсь в последнее время, несмотря на всю значительность моего [писательского] имени, к выступлениям более умеренного толка»¹, — замечает Захер-Мазох в 1875 г. в письме к начинающей венской писательнице Эмили Матайя.

«Направление», о котором упоминает писатель, подразумевает внимание к эксцессивной, отклоняющейся от «нормы» форме эротики, получившей еще при жизни автора, хотя и против его воли, название «мазохизма». Традиционно относившийся, наряду с садизмом, к разряду «половых извращений», мазохизм «Венеры в мехах» и ее автора стал достоянием обществу в одну из наиболее пуританских эпох развития немецкой культуры. «...В конечном счете во всех наших страстях нет ничего особенного и странного: кому же не нравятся красивые меха, и всякий знает и чувствует, как близкородственны друг другу сладострастие и жестокость», — произнося эти слова, главная героиня «Венеры в мехах» явно переоценивала степень либерализма популярной в эпоху Бисмарка сексуальной морали. «Очевидное», само собой разумеющееся для Ванды-Венеры и ее автора, вовсе не являлось таковым для рядовых бюргеров 1870—1880-х гг. Выступив таким образом в роли «пощечины общественному вкусу», «Венера» с необходимостью повлекла

за собой поступательное нисхождение славы Захер-Мазоха и обеспечила своему автору на много десятилетий вперед славу «порнографического» писателя.

Начавшаяся в конце 1960-х гг. после выхода книги знаменитого французского философа Жюль Делёза «Представление Захер-Мазоха» переоценка главного сочинения писателя увенчалась весной 2003 г. проведением в австрийском Граце (месте написания «Венеры») широкомасштабного «мазоховского фестиваля». Солиднейшая культурологическая конференция, целая серия представительных выставок и перформансов на тему «Мазохизм в мировой культуре» — эти события грацкого фестиваля² не только засвидетельствовали коренное изменение отношения к Мазоху и его роману и чрезвычайную важность для современного культурного сознания понятия «мазохизм»; они явились также знаком эмансипации культурного сознания от репрессивного в своей основе представления о некой раз и навсегда установленной «норме» половых отношений.

Именно такой — непреложной — «нормой» руководствовался австрийский психиатр Рихард фон Крафт-Эбинг, когда в 1891 г. аттестировал героям Захер-Мазоха, ему самому, а также всем «ему подобным» диагноз «мазохизм»: «Под мазохизмом я понимаю своеобразное извращение психической половой жизни, состоящее в том, что субъект на почве половых ощущений и побуждений находится во власти того представления, что он должен быть вполне и безусловно поработан волей лица другого пола, что это лицо должно обращаться с ним как с рабом, всячески унижая и третируя его». Суть мазохистской «ненормальности», по Крафту-Эбингу, сводится к тому, что сексуальному влечению у мазохиста соответствует «иное удовлетворение, а *не нормальное*, хотя также через посредство женщины, но не путем акта совокупления»³ (курсив мой. — Л. П.).

Современный культурологический взгляд на проблему сексопатологии исходит, как известно, не из «нормальности» или «ненормальности» таких явле-

ний, как садизм, мазохизм, фетишизм и пр., но из относительности самого понятия «нормы» сексуального поведения, как неизменно связанного с господствующими властными идеологиями. Соответственно, и запрет, основанный на исторически господствующей норме и границах дозволенного («естественного»), присутствующих каждой конкретной эпохе, получает, по М. Фуко, статус продуктивного раздражителя, выступая тем самым не инструментом сдерживания и ограничения «извращений» и «патологий», но собственно механизмом их порождения.

Под «запретом» здесь подразумевается введение в действие не только политических и социальных, но также и языковых ограничительных и репрессивных механизмов (ср. тезис российского философа В. Подороги: «Называние отдельной перверсии есть ее запрет»). В силу этого и все стыдно-запретное, «извращенное» и «преступное» в мазохизме следует отнести на счет крестного отца термина и, соответственно, «первооткрывателя» (по сути — создателя) данной «перверсии» — добропорядочного бюргера и профессора-позитивиста Крафта-Эбинга. За Захер-Мазохом же в таком случае останется «общечеловеческий» потенциал мазохистской диспозиции (или, в терминологии Ж. Делёза, «мазохистского фантазма»): *«Всякий знает и чувствует, как близкородственны друг другу сладострастие и жестокость»*. Полвека должно было пройти, прежде чем эта вложенная в уста Ванды-Венеры фраза нашла «научное подтверждение» и обоснование в одном из ведущих тезисов позднего З. Фрейда — о теснейшей взаимосвязи и взаимообусловленности ключевых инстинктов человеческой психики: влечения жизни и влечения смерти, Эроса и Танатоса (см. работу «По ту сторону принципа удовольствия», 1920).

* * *

Леопольд фон Захер-Мазох (1836—1895) родился в одном из отдаленнейших уголков многонациональной Габсбургской империи — Восточной Галиции. Отец пи-

сателя, начальник полицейского управления г. Лемберга (Львова), был типичным австрийским чиновником, в силу своего служебного положения поставленным «над» количественно преобладавшими во Львове и окрестностях «местными» этносами: украинцами, поляками, евреями. Немецкоязычное меньшинство было главной средой общения для семейства Захер-Мазох, таким же — немецкоязычным и, в австрийской традиции, католическим было и воспитание будущего автора «Венеры», не так уж часто соприкасавшегося с «местными типами» и с «аутентичной местной культурой». Тем не менее Захер-Мазох уже во взрослом возрасте будет неизменно апеллировать к собственному детскому и отроческому галицийскому опыту как к неистощимому источнику мотивов и сюжетов своей прозы.

Именно этот опыт (или его умелая имитация) способствовал первому значительному успеху Захер-Мазоха, когда он после блестящего окончания Грацкого университета и нескольких лет работы в этом же учебном заведении в качестве приват-доцента (по австрийской и новой европейской истории) решил попробовать себя в литературе. В написанных в 1860-е гг. и прославивших имя писателя новеллах «Коломейский Дон Жуан», «Лунная ночь», «Отставной солдат», романах «Разведенная» и «Граф Донский» некая любовная история неизменно разыгрывается на пейзажном и «этнографическом» фоне Восточной Галиции. Западноевропейский читатель ценил раннего Мазоха как за эту экзотику содержания, «адаптированную» и вполне вписывавшуюся в популярную в то время «реалистическую» парадигму, так и за «культивированность» повествовательной формы. Последняя — «рассказ в рассказе» — откровенно восходила к любимому писателю Мазоха (и всей Европы 1860—1870-х гг.) Ивану Тургеневу. Своей сугубой ориентированности на автора «Записок охотника» Мазох никогда не скрывал и неизменно с гордостью цитировал фразы газетных и журнальных рецензий, в которых его именовали «австрийским Тургеневым».

До «Венеры», таким образом, карьера Захер-Мазоха-писателя складывалась весьма удачно: ему удалось утвердиться не только в Австро-Венгрии и во всем обширном немецкоязычном регионе (политический и культурный тон задавала в ту пору Пруссия), но и в «самом» Париже в качестве одного из ведущих прозаиков и надежды немецкой литературы. (Кстати, во Франции, где переводы мазоховских текстов печатал авторитетнейший толстый журнал «Revue des Deux Mondes», реноме Захер-Мазоха в течение всей его жизни было настолько высоким, что имя его неизменно называлось в ряду наиболее выдающихся немецких писателей на третьем месте, сразу после Гёте и Гейне. В 1883 г. правительство Французской республики даже удостоило автора «Венеры в мехах», в честь 25-летия его творческой деятельности, ордена Почетного легиона.)

После «Венеры» галицийская «этника» (отдельный и интереснейший раздел которой составляют повести и рассказы, связанные с украинской и еврейской тематикой) постепенно отступила в творчестве Мазоха на задний план. Ее место заняли различные варианты воплощения «мазохистского фантазма» — от текстов, вполне сопоставимых с «Венерой» по художественной и культурологической значимости (ср. повесть «Богородица», 1883), до создававшихся в основном ради заработка тривиальнейших историй о жестоких красавицах («домидах») разных времен и народов. Как бы то ни было, в Германии и Австрии «официальная» слава объявленного «безнравственным» писателя с этого времени пошла на убыль; показательно, что авторы нескольких вышедших в связи с его кончиной в 1895 г. некрологов, старательно пуантируя галицийско-этнографический, бытописательный и пейзажный элемент его творчества, как правило, даже не упоминали о «Венере».

* * *

«Венера в мехах» выходит в 1870 г. в составе первой части новеллистического сборника «Наследие Ка-

ина». Бóльшая часть текстов данного собрания, сюжетно фиксированных на крестьянско-помещичьей жизни Галиции, вполне укладывается в практиковавшийся тогда Мазохом вариант «реалистической этники». «Венера» явно «выбивалась из строя», поскольку «типично галицийские» условия присутствуют в ней разве что на уровне повествовательной «рамки», которая отображает ситуацию встречи рассказчика и главного героя в поместье последнего, расположенном где-то в Коломейском округе. Действие же основной части «Венеры» (собственно история отношений галицийского дворянина Северина Кузимского и «молодой вдовы» Ванды фон Дунаевой), начавшись на «маленьком карпатском курорте», переносится впоследствии в Вену и затем во Флоренцию. По мере пространственного удаления от галицийской действительности редуцируется и мера «реалистичности» «Венеры» и, соответственно, возрастает фантазийное (точнее говоря — фантазматическое) начало текста. Означенная переменная фиксируется время от времени в дневнике героя, сознающего постепенное размывание границ между явью и сном, действительностью и грёзой и перетекание одного в другое: «Что случилось в действительности из того, что проносится в моем воспоминании? Что я пережил и что я только видел во сне? <...> Моя фантазия стала действительностью. Что же я чувствую? Разочаровало ли меня воплощение моей грёзы в реальность? Нет!»

Даже с точки зрения реалистической эпохи с ее достаточно негибкими представлениями о естественном, дозволенном и нормальном в любви нет ничего необычного во взаимной склонности двух молодых людей (Северину к моменту начала основного действия новеллы 26 лет, Ванде 22 года), случайно оказавшихся в близком соседстве (герои снимают комнаты в одном и том же доме). Не выпадает из реалистического канона, стремящегося, как известно, редуцировать любовные отношения до отношений супружеских, предложение руки и сердца, сделанное Северином

Ванде. Логичен и «реалистически» последователен и первоначальный отказ свободолюбивой, материально независимой молодой вдовы, сомневающейся в соответствии Северина ее идеалу мужчины и мужа: «Я отлично могу себе представить, что могла бы принадлежать одному мужчине всю жизнь, но это должен быть настоящий мужчина, который импонировал бы мне, который подчинил бы меня силой своей личности, — понимаете?» Идеал Ванды основан, как видно, на добровольном подчинении «женского» доминирующему «мужскому» и вполне вписывается поэтому в систему косо-патерналистских представлений реалистической эпохи о любви, супружестве и браке.

Нетипичной, не свойственной реалистическо-бюргерским представлениям об отношениях полов и эти представления размывающей оказывается та форма, в которую в конце концов выливается союз Ванды и Северина. Последний, называющий себя «сверхчувственным» (нем. *übersinnlich* — слово еще гётевское) существом, у которого «все коренится больше в фантазии и получает оттуда пищу», сознается Ванде в одной из своих «заветных, долго дремавших» фантазий: «Быть рабом женщины, прекрасной женщины, которую я люблю, которую боготворю! <...> ...Которая меня связывает и хлещет, топчет меня ногами, отдаваясь при этом другому».

Восходящая в историко-культурном отношении к миннезингеровскому и петраркистскому культу «прекрасной дамы» и к идеализированному образу возлюбленной у романтиков (в герое Мазоха много от романтика: подобно героям Гофмана, Гейне и Эйхендорфа, он влюбляется в статуи и картины), фантазия Северина переводит феномен обожания недоступной красавицы в план физиологически-телесный, деметафоризируя и буквализируя расхожие культурные клише о «любовном рабстве», «мучениях» и «страданиях» в любви. Так, «рабство» понимается им буквально, как переход в полное распоряжение Ванды и сопряженный с этим отказ от собственных прав личности, от

имени (герой зовется отныне Грегор, в русском переводе — Григорий), свободы передвижения, имущества (даже одежда его заменяется теперь на лакейскую униформу) и социального статуса. Любовные «мучения» и «страдания» также переводятся в план реальности, воплощаясь в истязаниях героя плетью или хлыстом, собственноручно осуществляемых Вандой. Сцены наказания приобретают статус ритуала, во время которого особое значение придается меху (горностаевому, собольему, куньему) как традиционному «атрибуту власти и красоты»: «госпожа» надевает шубу или отороченную мехом одежду (кацавейку). К фетишизированному набору предметов одежды время от времени добавляется также островерхая меховая шапка и отороченные мехом сапоги «прекрасной деспотицы».

Конструируемый таким образом мазохистский сценарий как продукт культуры не имеет ничего общего с примитивным упражнением грубой силы, каковым его хотели видеть многие современники, нередко возводившие ритуалы «Венеры в мехах» к «варварским» славянским нравам. Введение мазохистских отношений в действие «цивилизованно» предваряется составленным по юридической форме «Договором между Вандой фон Дунаевой и г-ном Северином фон Кузимским», в соответствии с которым последний обязуется «честным словом человека и дворянина быть рабом ее [Ванды] до тех пор, пока она сама не возвратит ему свободу». Оговоренными и узаконенными юридически, помимо статуса Северина как раба, оказываются также и телесные наказания, и меховая «атрибутика» встреч.

Установленные договором и скрепленные подписями обеих сторон отношения героев развиваются далее по логике, обозначенной Т. Рейком и Ж. Делёзом словом «подвешивание» (англ. *suspense*). Начиная с того момента, когда Ванда и Северин поселяются в качестве госпожи и слуги на роскошной вилле на окраине Флоренции, и до разрыва их отношений в конце ос-

новной части новеллы означенная «подвешенность» проявляется в виде колебания в некоторой амплитуде между двумя крайними пределами⁴. Один из пределов — нисхождение госпожи к рабу и кратковременное восстановление «додоговорных» отношений двух возлюбленных. Другой предел наступает, когда физические истязания начинают представлять опасность для жизни Грегора/Северина, например в ситуации ритуального избиения его тремя служанками-негритянками под началом Ванды или заточении связанного героя в холодном погребе, без пищи и света. Ср. мысли Северина по этому поводу: «Она [Ванда] способна оставить меня умереть голодной смертью — если я раньше не замерзну насмерть». Ср. также вопрос, который он обращает к вошедшей в подвал Ванде: «Ты пришла убить меня?»

Состояние же «промежуточное» по отношению к двум пределам («обычной» любви и физической смерти), т. е. сама ситуация избиения героя одетой в меха властной и жестокой госпожой, выступает наиболее желанной позицией для «подвешенного» и, подобно маятнику, раскачивающегося между двумя крайностями героя. Именно это состояние наиболее полно воплощает смысл и цель мазохистского договора: «Удары — частые, сильные — сыпались мне на спину, на руки, каждый врезался в мою плоть и продолжал там гореть, но боль приводила меня в восторг, потому что исходила она от нее — от той, которую я боготворил, за которую всякую минуту готов был отдать жизнь». Очевидна объективная внутренняя противоречивость, «оксюморонность» мазохистского экстаза, для возникновения которого мало одной только близости возлюбленной или одной лишь физической боли, но необходимо сочетание того и другого: увидеть себя отраженным в глазах Ванды, заносщей для удара руку с зажатой в ней плетью. Важно поэтому пристрастие мазохистского героя к образной фиксации лабильного «срединного» состояния *suspense*, например стремление отобразить его на живописном полотне. Северин

у ног Ванды, поигрывающей плетью, — таков сюжет картины, написанной по инициативе героя одним немецким художником и украшающей стену гостиной уже «исправившегося» мазохиста.

Конец мазохистским отношениям кладет даже не появление «Третьего» — атлетически сложенного и идеально красивого молодого грека по имени Алексис (Северин называет его про себя Аполлоном), воплотившего мечту Ванды о «настоящем мужчине». Известно, что герой-мазохист изначально, еще до составления договора, исходил из возможности ввода в игру счастливого соперника, что «обогастило» бы спектр его страданий еще и муками ревности. Истинным концом отношений героев становятся, скорее, два других связанных с греком обстоятельства. Во-первых, Ванда окончательно и бесповоротно покидает Северина, уезжая вместе с Алексисом в Париж, и, во-вторых, перед отъездом предоставляет последнему высечь своего «слугу и раба», подведя таким образом черту и под своими отношениями с Северином, и под мазохистскими фантазиями последнего: «...Аполлон, удар за ударом, вышиб из меня эту поэзию, пока я наконец, стиснув в бессильной ярости зубы, не проклял и себя, и свою сладострастную фантазию, и женщину, и любовь».

* * *

Благодаря вышедшим в 1906 г. мемуарам первой жены Захер-Мазоха Ванды (урожденная Аврора Рюмелин, она сознательно приняла впоследствии имя героини «Венеры в мехах») и опубликованным несколькими месяцами позже воспоминаниям Карла Феликса фон Шлихтегроля, бывшего секретаря Захер-Мазоха, достоянием общественности стала биографическая основа «Венеры в мехах». Источником для написания данного, ключевого мазоховского текста явились отношения писателя с состоятельной 25-летней вдовой Фанни фон Пистор, вместе с которой, выступая в функции ее слуги, Захер-Мазох совершил путешест-

вие в Неаполь и во Флоренцию. Биографически фундированными оказываются, таким образом, во-первых, внешность Ванды-Венеры (рыжеволосая, изящно сложенная красавица с зелеными глазами — именно так выглядела Фанни), во-вторых, буква и дух мазохистского «договора». Правда, по сравнению с реальным договором, заключенным между Фанни и Захер-Мазохом 8 декабря 1869 г., договор Северина и Ванды в «Венере в мехах» выглядит более суровым. Реальный договор заключался на определенный срок (6 месяцев) и не позволял «госпоже» Фанни действий, затрагивающих «честь» Леопольда «как человека и гражданина», оговорено было и предоставление Захер-Мазоху шести часов свободного времени ежедневно для писательской работы. Реально обыгранными и проигранными в отношениях с Фанни были также идея «Третьего» (в его роли выступил во Флоренции итальянский актер Сальвини) и физические истязания. Показательно стремление писателя (перенесенное затем на его героя Северина) образно запечатлеть момент мазохистской «подвешенности». Известная «перформативная» фотография 1869 г. отображает Захер-Мазоха стоящим на коленях перед Фанни в позе абсолютной преданности; в свою очередь «госпожа», поигрывающая плеткой, предстает возлежащей на софе в роскошно отороченной мехом свободной одежде.

Вторым перформативным биографическим проектом, строившимся уже на «готовой» литературной основе, стали отношения Захер-Мазоха и Авроры-Ванды, вступившей в 1871 г. в активную переписку со знаменитым писателем в качестве «женщины его мечты», способной якобы реализовать воплощенную в «Венере в мехах» грезу. Заключенный в 1873 г. брак Захер-Мазоха и Авроры-Ванды протекал под знаком мазохистского фантазма. Ванда неизменно, даже в теплое время года носила, в соответствии с желанием мужа, меховые туалеты, систематически связывала и избивала супруга по его просьбе, давала газетные объявления с целью поисков «Третьего».

В биографическом плане «фантазм» был проигран еще раз — в 1875 году, теперь уже виртуально, в интенсивной переписке Захер-Мазоха с начинающей венской писательницей Эмилией Матайя (1855—1938). Подробно обсуждались (пред-)ощущения обоих действующих лиц мазохистского сценария, меховые туалеты будущей домины, которые Захер-Мазох обещал оплатить самолично, идея «Третьего», а также подробности будущей (в мазохистском контексте так и не состоявшейся) встречи.

Очевидно, что в своих жизненных воплощениях мазохистский сценарий с неизбежностью наталкивался на границы материального (дорогостоящие меховые туалеты супруги нередко приводили семейство Захер-Мазох на грань банкротства), морального (сознательное подталкивание Мазохом Венеры-Ванды к супружеской измене) или эстетического (несоответствие неизменно «пошлых» вариантов «Третьего»⁵ идеальным представлениям Захера-Мазоха о греке) плана.

Лабильное состояние «подвешенности», самая суть мазоховского мазохизма, энтропийно по своей сути, то есть устремлено скорее к задержке и фиксации, нежели к динамике и развитию. Отсюда — потенциальное разнообразие «исходов» мазохистского сценария и известное безразличие протагониста-участника к типу и качеству «исхода». Так, в случае с Фанни финал оказался *комическим*. Захер-Мазох (по договору — Грегор, как впоследствии и его герой Северин) в пору своего пребывания на «службе» у госпожи фон Пистор по собственной инициативе «вышел из игры». Писатель попросту тайно бежал из Флоренции в Грац, после того как, будучи одетым в лакейскую униформу, оказался признанным на улице своим университетским однокашником. Как «глубоко комичное» воспринимает свое состояние слуги-раба и Северин в «Венере в мехах»⁶. О «комичности» меховых одеяний, навязываемых ей мужем, говорит в своих мемуарах и Ванда-Аврора⁷.

Другой исход — *драматический* разрыв отношений «слуги» и «домины», покидающей раба-мазохиста под руку с новообретенным возлюбленным — греком. Кро-

ме литературного варианта — концовки «Венеры в мехах», мы располагаем в данном случае и реальным «жизненным» примером. В 1883 г. супруга Ванда, забрав одного из двух сыновей, ушла от Захер-Мазоха, пребывавшего в тот момент в состоянии тяжелого морального и финансового кризиса, и уехала в Швейцарию вместе с парижским журналистом Сен-Сером, который был моложе ее на десять лет. (Драматизм ситуации усугубился последовавшей вскоре после отъезда Ванды скоропостижной смертью 9-летнего старшего сына бывших супругов, оставшегося с отцом.)

Также и *трагический* исход неизбежно предносится «подвешенному» мазохисту. Для Северина «Венеры в мехах» это, кроме реальной опасности быть замученным до смерти, еще и почти удавшаяся попытка самоубийства: однажды в пароксизме отчаяния он едва не утопился в водах Арно.

* * *

По очень точному замечанию Ж. Делёза, мазохист, идеалист и мечтатель по сути, в своем фантазме не отрицает и не идеализирует реальность, но — «отклоняет» ее во имя собственного идеала. «Обоснованность реального оспаривается с целью выявить какое-то чистое, идеальное основание»⁸. Важной поэтому представляется способность осознать мазохистский ритуал и положенную в его основание идею не в перспективе их реальной художественной или жизненной воплощенности и не с точки зрения тех исходов/границ, на которые мазохист наталкивается, стремясь к реализации своего фантазма, но осознать мазохистский конструкт сам по себе, «в чистом виде», с точки зрения его психологической достоверности, метафизической глубины и эстетической продуктивности.

Наиболее глубоким вариантом толкования смысла и сути мазохизма остается концепция Ж. Делёза, делающего акцент на «договорном» характере мазохистских отношений и «двойной выгоде», извлекаемой из них мазохистом. Заключая договор именно с женщи-

ной, которая как таковая не выступает в патриархальном обществе полнозначным субъектом права, и возводя ее волю (или ее произвол) в статус закона, мазохист, во-первых, делает саму идею закона и договора, какими они сложились в гражданском обществе, а соответственно, и институт власти и государственности объектом юмористического отношения. (Делёз считает юмор показательным для мазохизма, в то время как мир де Сада определяется, в его представлении, холодной иронией.) Во-вторых, договор определенным образом «закрепляет» обязательность для мазохиста (физического) наказания, а значит, и неизбежность получения им удовольствия: «Рассматривая закон как пунитивный (пыточный. — Л. П.) процесс, мазохист начинает с того, что подвергает себя наказанию; и в этом находит для себя основание, дающее ему право и даже обязывающее его испытать то удовольствие, которое закон должен был ему запретить»⁹.

Переводя мазохистский конструкт в систему психоанализа, Делёз называет договор Мазоха «союзом сына с матерью», заключенным «против отца». Смысл исключения отца из эдипова треугольника и перенесения на мать заботы об использовании и отправлении отцовского закона Делёз усматривает в стремлении мазохиста к символическому «второму рождению» через инцест с матерью и осуществленную ею кастрацию, приобретающую вид истязаний: «С точки зрения матери кастрация (читай: истязания. — Л. П.) сына есть... условие успеха кровосмешения (ибо этим актом убивается отцеподобное в сыне, и отец изгоняется окончательно. — Л. П.), теперь, в силу этого смещения, уподобляющегося второму рождению, в котором отец не играет никакой роли»¹⁰ (курсив оригинала. — Л. П.).

Идея рождения нового человека в мазохистском ритуале, который Делёз, опираясь на тексты Мазоха, справедливо связывает с древними инициационными (избиение хлыстом), земледельческими (ср. запряжение Северина в плуг по приказу Ванды и имитация им пахоты) и охотничьими (ср. восторженный рассказ

Северина о «бедном трубадуре, которого его своенравная госпожа велела зашить в волчью шкуру, чтобы затем затравить его, как дикого зверя») обрядами, соотносима с генеральной концепцией новеллистического цикла «Наследие Каина», составной частью которого была «Венера в мехах», и выступает ее глубинно-психологическим выражением. В свете теории Делёза особым смыслом наполняется заявленное Захер-Мазохом в плане-перспективе цикла движение от образа Каина, любимого сына Евы, презревшего «отцовский» порядок и через союз с матерью и кастрацию (наказание) пришедшего ко «второму рождению», — к ипостаси распятого, страдающего Христа (центральный образ заключительной новеллы «каинового» цикла, оставшейся лишь в проекте) как существа без половых инстинктов, существующего без собственности и вне государственных институтов.

* * *

Замечание 3. Фрейда о показательности морально-мазохизма для «многих русских типов характера» (см. работу «Экономическая проблема мазохизма», 1924) имеет важное значение для понимания главного мазоховского текста. «Русская» субстанция, не определяя с очевидностью содержания «Венеры в мехах», «просвечивает» тем не менее в данном тексте в целом ряде именно в мазохистском смысле релевантных моментов. Так, у Ванды-Венеры (семантически и по словоформе) русская фамилия — Дунаева (в онемеченном варианте von Dunajew). Сама героиня однажды прямо называется «русской». Мы имеем в виду эпизод в начале пребывания героев во Флоренции, когда Ванда мотивирует необходимость переезда из гостиницы в отдельные апартаменты «стесненностью», проистекающей от чрезмерного внимания окружающих к ее отношениям с Северином: «Стоит мне чуть дольше заболтаться с тобой, сейчас же скажут: русская барыня в любовной связи со своим слугой — не вымирает, видно, порода Екатерины».

Образ Екатерины Великой как наиболее яркой представительницы типа деспотической жестокой красавицы неоднократно возникает на страницах «Венеры», вначале как «идеал» Северина-мечтателя, затем, по мере вживания Ванды в роль «Венеры в мехах», как прямой образный аналог героини, манящий и устрашающий одновременно. Кстати, и «рабское» имя Северина — Gregor/Григорий — представляется аллюзией на наиболее мягкого по характеру и покорного по натуре из фаворитов Екатерины II — графа Григория Орлова. (Спустя пять лет после написания «Венеры» Захер-Мазох выпустил сборник развлекательных «Русских придворных историй», в которых отношения Екатерины Великой и Григория Орлова представлены в параметрах мазохистского сценария.)

Традиционные объекты мазохистского фетишизма — меха и плетка (кнут) — также откровенно выдают у Захер-Мазоха свое русское происхождение. В туалетах Ванды фон Дунаевой (впрочем, как и в реальных предметах одежды супруги Захер-Мазоха и «виртуальных» жакетах и кацавейках Эмилии Матайя, фантазийно конструируемых писателем в письмах к ней) очевидна стилизация *à la russe*. Это или обрамленные мехом традиционные для России и Украины XIX в. жакеты — кацавейки, или шубы, меховые пальто, плащи и даже пеньюары на меху в стиле той же Екатерины II. Набор меховых фетишей, которыми густо уснащается тело Ванды (ср. остроумную аналогию Ж. Делёза: садист раздевает женщину — мазохист одевает ее), пополняется время от времени меховыми островерхими шапками, называемыми обычно «русскими» или «казацкими», а также отороченными мехом «русскими» же остроносыми сапогами — предметами одежды и обуви, причудливым образом соединяющими фрейдовское представление о «кастрированной женщине» с фаллическими ассоциациями.

Недвусмысленно фаллический фетиш кнута (плетки), как уже было сказано, также довольно непосредственным образом связывается у Захер-Мазоха с Рос-

сией и русской историей. Присматриваясь на базаре к хлыстам «из длинного ремня на короткой ручке, какие употребляют для собак», Ванда просит продавца выбрать для нее самый большой из имеющихся в наличии: «В таком роде, какие употребляются в России для непокорных рабов». Воспринимаемая в Западной Европе как оплот крепостного рабства, которое проявлялось в наиболее наглядной, «телесно» ощутимой форме как физическое насилие, учиняемое крепостным (так же, впрочем, как и представителям других сословий, случись им быть осужденными уголовным судом) посредством «кнута» и «плетки», Россия до конца XIX в., уже за формально-историческими пределами крепостничества, продолжала в имагологическом отношении оставаться «империей кнута». Приезжие иностранцы захватывали с собой из России кнуты и плетки в качестве сувениров, подобно тому как сейчас от нас привозят матрешек. В особой цене были «карательные» инструменты, действительно служившие для отправления наказаний. Так, в парижских светских кругах в свое время произвели фурор два русских кнута, привезенных из Москвы сыном маршала Даву князем Эклюльским, который выкупил их у палача. Русская дискуссия о преимуществах «треххвостой плети» перед «однохвостым кнутом»¹¹, развернувшаяся в связи с выходом в 1845 г. «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных», в соответствии с которым наказание кнутом заменялось «более легким» наказанием плетью, также фиксировала внимание западной общественности на двух неотъемлемых атрибутах русского быта.

Происхождение «русского» инструментария «Венеры», возможно, связано с увлечением автора тургеневскими «Записками охотника», с типичной для них диспозицией (чреватых поркой) отношений «крепостной — помещик»¹². Как бы то ни было, проблема «русского мазохизма» живо занимала умы на протяжении всего XX в., начиная от бердяевских рассуждений о «рабьем» и «бабьем» в русской душе и заканчивая спе-

циальными исследованиями, посвященными «мазохистскому» элементу русской ментальности¹³.

* * *

Важное значение в контексте мазоховской новеллы получает образ глаз, субстанция «взгляда» и априори присущая последней амбивалентность. Направленный на человека взгляд, обращая личность в объект, в известном смысле «присваивает» ее и может, таким образом, выступать синонимом власти над нею. В то же время стихия взгляда, как субстанция нематериальная, с реальным обладанием не связана. Подобная же амбивалентность присуща и семантике глаза, который выступает в психоанализе символическим аналогом как фаллоса, так и вагины. Страх потери глаз, истолкованный Фрейдом в статье о «Песочном человеке» Э. Т. А. Гофмана как предпубертатный «страх кастрации», оборачивается у Захер-Мазоха страхом (равнозначным «кастрации») утраты взгляда на себя и стремлением предотвратить (заместить) последнюю бичеванием — кастрацией символической.

Выступая не только «автором сценария», но и «режиссером» мазохистской драмы, Северин посредством договора и путем «воспитания» самолично конструирует «жестокий взгляд» Ванды, необходимый ему для получения наслаждения. Подталкивая Ванду путем убеждения и уговоров к продуцированию «жестокоего и холодного» взгляда на него или провоцируя возлюбленную на такой взгляд, Северин, как «хитрый мазохист» (Т. Рейк), действует исключительно в собственных интересах, в то время как «исконный», природный взгляд Ванды элиминируется, отменяется. («Исконный» взгляд героини — «спокойный и ясный, как солнце» — имеет место в начале новеллы, до вступления в силу мазохистского договора.) Для моментов кратковременного возобновления «немазохистских» любовных отношений героев отмечается известное «равноправие» взглядов Ванды и Северина. Ср.: «...глаза наши, опьяненные счастьем, тонут друг в друге». Возвращение

Ванды к своему «исконному» взгляду наблюдается в конце истории, когда героиня встречается глазами с греком и Северин перехватывает ее «полувосхищенный, полуизумленный взгляд».

Другое толкование сюжетной функции и символики взгляда в «Венере в мехах» связано с трансцендированием индивидуального, личного бытия Северина путем введения этого бытия в поле зрения (видения) Другого, в данном случае — Ванды. Феномен взгляда и видения оказывается при этом связанным с хайдеггеровской (наиболее отчетливо сформулированной в работе «Бытие и время», 1927) проблемой обретения личностного самосознания, каковое обретение, по Хайдеггеру, оказывается возможным путем постановки вопроса: «Что есть я для Другого?» или при попытке увидеть себя глазами Другого.

Справедливым, однако, будет увидеть во взгляде Ванды в «Венере в мехах» субстанцию, одновременно и конституирующую, и трансцендирующую бытие Северина¹⁴. В сюжете новеллы последовательно отражено показательное для героя «томление по взгляду» Ванды, его поиски, обретение и стремление «закрепить», «удержать» взгляд другого на себя и, наконец, болезненное «отчуждение» этого взгляда в итоге. Так, до встречи с Вандой Северин маркируется как существо, «невидимое» для мира, следовательно, не обладающее собственным бытием. Ср. одну из первых записей в его дневнике: «Лениво тянутся дни в маленьком карпатском курорте. Никого *не видишь*, никто тебя *не видит*» (курсив мой. — Л. П.). Конструирование поля «взгляда», а значит, и прорыв к собственному бытию начинается с момента ночной встречи Северина с Вандой/Венерой, во время которой герой наконец-то оказывается «увиденным» неким *speculum mundi*, олицетворяемым Вандой.

Период знакомства и сближения, когда Северин время от времени лишь «ненадолго» попадает в поле «спокойного и ясного, как солнце» взора Ванды, переходит в фазу обостренного взаимного интереса, соот-

ветственно, интенсифицируется и «бытийно» необходимая Северину субстанция «взгляда» Ванды. Ср.: «Десять дней я не расставался с ней ни на час, исключая ночи, я мог непрерывно смотреть в ее глаза...» (курсив мой. — Л. Н.). Именно обретение обращенного на него взгляда Ванды, а вовсе не физическая близость с ней оказывается для Северина априори главным моментом его отношения к возлюбленной. Цель Северина поэтому не столько физическое обладание Вандой как женщиной, сколько (договорное, законодательное) закрепление таких условий, при которых его нахождение в «поле», в субстанции ее взгляда стало бы неизбежным. Идея мазохистского «договора», узаконивающая, вместе с «рабством» Северина, также и его «пожизненное» пребывание в поле «взгляда» Ванды, рождается в тот момент, когда перспектива законного брака ставится героиней под сомнение. Ср. следующую фразу героя: «Я так люблю вас — всей душой, всеми помыслами... что ваша близость, ваша атмосфера незаменимы для меня, если мне суждено еще жить дальше. <...> Сделайте из меня что хотите — своего мужа или своего раба!»

Устремленный на него «жестокий», «суровый», «холодный» взгляд Ванды — главное условие жизни и бытия для Северина, отсутствие же такового равнозначно для него небытию, маркирует смерть. Недаром в новелле Мазоха неоднократно, всякий раз в ключевых моментах сюжета (например, подписание договора, заключительное истязание героя греком) всплывает плафон, украшающий покои Ванды во Флоренции, с изображением Далилы, предающей Самсона в руки филистимлян. Северина завораживают на картине именно «взгляды» героев: «В кокетливой насмешливости ее [Далилы] улыбки чувствуется поистине адская жестокость, полузакрытые глаза ее скрещиваются с глазами Самсона, с безумной любовью прикованными к ней в последнем взгляде...» Живущий исключительно в стихии взгляда Далилы и живой лишь благодаря этому взгляду, Самсон наслаждается последними

минутами своего «бытия в другом», не отвлекаясь на «второстепенные» для него в настоящий момент реакции отчаяния, возмущения предательством возлюбленной или жажды мести.

Процедура истязания хлыстом оказывается для Северина одним из способов «сохранения», «удержания» взгляда возлюбленной — ибо кто же бьет, не глядя на наказуемого? В периоды кратковременного «отлучения» «раба Георга» от госпожи Ванды тоска по ее взгляду неотделима для него поэтому от томления по удару ее руки: «...но для меня — ни единого взгляда, ни единого звука, ни даже — оплеухи. О, как я томлюсь по удару ее руки!» Важно отметить, что попытка самоубийства Северина не удаётся, «отменяется» извне именно благодаря видению Ванды, «повернувшейся» к нему лицом и «улыбнувшейся», то есть опять-таки благодаря взгляду возлюбленной.

Возможность выхода из «поля взгляда» Ванды намечается в сюжете новеллы задолго до того, как «поле» это, вследствие избиения героя греком и отъезда возлюбленной, «насильственно» отчуждается от него. Важное значение для «эмансипации» Северина от власти над ним Ванды и его последующего «выздоровления» приобретает визуальное «закрепление» ситуации его «любовного рабства». Статичный иконический образ — герой на коленях перед возлежащей на оттоманке Вандой — возникает вначале в зеркальном отражении, а затем на картине, написанной влюбленным в Ванду немецким художником и выступающей исходным пунктом повествования. (Присланная герою Вандой спустя несколько лет картина висит на стене в имении «выздоровевшего» Северина и вызывает живой интерес «рамочного» рассказчика. Для удовлетворения его любопытства Северин предоставляет приятелю-соседу для прочтения свой дневник — «предысторию» картины.) В процессе создания полотна, прерываемом время от времени для порки Северина или (с его согласия и по его просьбе) самого художника — с целью придания глазам позирующей Ванды

необходимого «жестокое» выражения, — для Северина впервые открывается возможность существования («бытия») за пределами «магнитного поля» взгляда Ванды. Ср.: «Меня она поместила в соседней комнате за тяжелой дверной портьерой, где меня видно не было, но я видел все». В качестве стороннего наблюдателя он присутствует и при порке художника, воспринимая данную сцену как исполненную «неописуемого, устрашающего очарования».

Северин, выступающий в мазохистском акте в роли наблюдателя и ставящий себя тем самым «над» ситуацией, ведет себя в данном случае аналогично Ф. Ницше, отступающему на задний план на знаменитом «мазохистском» фото 1882 г., представляющем философа и его друга Пауля Рее запряженными в тележку, на которой сидит 21-летняя Лу Саломе, «погоняющая» мужчин кнутом. Считается, что Ницше, инициировавший и «инсценировавший» данный снимок, обладает, в отличие от двух других «актеров», неким «избыточным» знанием, а именно представлением о мазохистской природе инсценируемого эмблематического образа, иконографически восходящего к популярному гравюрному мотиву: гетера Филина, сидя верхом на спине стоящего на четвереньках Аристотеля, избивает философа плеткой.

Представленный в концовке новеллы окончательный выход Северина из мазохистской ситуации («излечение» героя) может быть истолкован по Хайдеггеру (и Лакану) как обретение личностью собственного «взгляда», который материализуется в реальном живописном полотне, не только «отчуждающем» бытие героя в субстанции взгляда Ванды, но также и закрепляющем обретение им «экзистентности», как условия дальнейшего существования бывшего мазохиста.

* * *

Захер-Мазох был первым в контексте немецкоязычной культуры, кто, идя вразрез с бюргерской моралью, ценой своей прижизненной славы и посмертного

«доброе имени», указал на прямую зависимость страсти и страдания, боли и наслаждения, сладострастия и жестокости в сексуальной и душевной жизни, предвосхитив тем самым открытия психоанализа и художественные откровения декаданса. Тот факт, что писатель исходил при этом из художественного инструментария современной ему реалистической эпохи, по необходимости сочетая в «Венере в мехах» «реализм» XIX в. с «мазохизмом», приобретшим статус культурного феномена лишь в веке XX, делает данный роман текстом в известном смысле уникальным. «Вот почему чтение Мазоха необходимо. Несправедливо не читать Мазоха...»¹⁵

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Sacher-Masoch L. von. Seiner Herrin Diener. Briefe an Emilie Mataja. München, 1987. S. 89.*

² Масштаб мероприятий фестиваля вполне отражает изданный по его материалам двухтомный каталог: *Weibel P. Phantom der Lust. Visionen der Masochismus. Bd. 1. Essays und Texte. Bd. 2. Visionen des Masochismus in der Kunst. Graz; München, 2003.*

³ *Крафт-Эбинг Р. фон. Psychopathia sexulis / Пер. с нем. М., 1996. С. 137–138.*

⁴ Ср. слова Ж. Делёза о «символических кромках» мазохистского фантазма, каковыми для него выступают два образа возлюбленной-матери: «гетерическая» мать, представляющая за свободную любовь, и «эдипова» мать, олицетворяющая смерть. См.: *Делёз Ж. Представление Захера-Мазоха / Пер. с фр. А. В. Гараджи // Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. М., 1992. С. 246.*

⁵ См. об этом в воспоминаниях Ванды: *Захер-Мазох В. Исповедь моей жизни / Пер. с нем. М., 2002.*

⁶ Один американский исследователь посвящает отдельное исследование комедийным чертам мазоховской новеллы. См.: *О'Реско М. Т. Comedy and didactic in Leopold von Sacher-Masoch's «Venus im Pelz» // Modern Austrian literature. Vol. 25 (1992). P. 1–13.*

⁷ См.: *Захер-Мазох Л. фон. Исповедь моей жизни. С. 63.*

⁸ *Делёз Ж. Указ. соч. С. 210.*

⁹ Там же. С. 268.

¹⁰ Там же. С. 273.

¹¹ См.: *Белинский В.Г.* Письмо к Гоголю // *Белинский В.Г.* Статьи о классиках. М., 1970. С. 419.

¹² См. об этом подробнее: *Полубояринова Л.Н.* Захер-Мазох — читатель Тургенева (К проблеме рецепции «Записок охотника» в Австрии) // *Литература в контексте художественной культуры / Отв. ред. А.Г. Березина, А. Фурсенко.* Новосибирск, 2000. С. 14—22.

¹³ См., например: *Rancour-Laferriere D.* The Slave Soul of Russia. Moral Masochism and the Cult of Suffering. N. Y.; London, 1995.

¹⁴ Подобный тезис развивается в статье: *Noyes J.* Der Blick des Begehrens. Sacher-Masochs «Venus im Pelz» // *Acta Germanica.* Bd. 19 (1988). S. 9—27.

¹⁵ *Делёз Ж.* Указ. соч. С. 312.

Л. Полубояринова

Венера в мехах

Роман

И покарал его Господь и
отдал его в руки женщины.

Кн. Юдифи, 16, гл. 7.

У меня была очаровательная гостья.

Перед большим камином в ренессансном стиле, против меня, сидела Венера. Но не какая-нибудь дама полусвета, воюющая под этим именем с противоположным полом — наподобие «мадемуазель Клеопатры», — а самая что ни на есть настоящая богиня любви.

Она сидела в кресле, а перед ней в камине пылал яркий огонь, отблески которого играли на бледном лице с невидящими глазами статуи, а порой выхватывали из тьмы и беломраморные ноги, когда она протягивала их к огню, стараясь согреть.

Головка богини поражала дивной красотой, несмотря на мертвые каменные глаза; но, кроме этой головки, я ничего не видел: небожительница закутала свое мраморное тело в роскошные меха и, вся дрожа, сидела свернувшись в комочек, как кошка.

Мы беседовали.

* * *

— Я вас не понимаю, сударыня, — воскликнул я, — право же, холода давно прошли! Вот

уже две недели как стоит восхитительная весна. У вас, верно, просто нервы разыгрались.

— Что это за весна! — отозвалась она своим глубоким каменным голосом и тотчас же вслед за этими словами божественно чихнула, даже два раза. — Этого положительно сил нет выносить, и я начинаю понимать...

— Что, милостивая государыня?

— Я начинаю верить невероятному, понимать непостижимое. Мне вдруг становится понятной и пресловутая германская женская добродетель, и прославленная немецкая философия, — и я перестаю удивляться тому, что любить вы, северяне, не умеете, что вы и отдаленного представления не имеете о том, что такое любовь...

— Позвольте, однако, сударыня!.. — воскликнул я, вспыхив. — Я положительно не дал вам никакого повода...

— Ну, вы другое дело! — Божественная чихнула в третий раз и с неподражаемой грацией повела плечами. — Так ведь и я была к вам неизменно благосклонна — настолько, что время от времени даже наношу вам визиты. Правда, всякий раз при этом, несмотря на все мои меха, немилосердно простуживаюсь. А помните нашу первую встречу?

— Еще бы! Разве такое забывается! — ответил я. — У вас были тогда пышные каштановые локоны, и карие глаза, и ярко-розовые губы, но я тотчас же узнал вас по овалу лица и по этой мраморной бледности... Вы всегда были одеты

в фиолетовый бархатный жакет с беличьей оторочкой.

— Да, вы были без ума от этого туалета... И схватывали все буквально на лету!

— Благодаря вам я понял, что такое любовь. Вы были главной жрицей на жизнелюбивых мессах, во время которых я забывал о двух тысячелетиях...

— А как беспримерно верна я вам была!

— Ну, что касается верности...

— Неблагодарный!

— То не был упрек. Вы, воистину, небожительница, однако, как всякая женщина, в любви вы жестоки.

— Вы называете жестокостью то, — с живостью возразила богиня любви, — что составляет главную сущность чувственности, веселой и радостной любви, — то, что составляет природу женщины: отдаваться, любя, и любить все, что нравится.

— Да разве может быть что-нибудь более жестокое для любящего, чем неверность возлюбленной?

— Ах, так ведь мы и верны, покуда любим! — воскликнула она. — Но вы требуете от женщины, чтобы она была верна, когда и не любит, чтобы она отдавалась, даже если это и не доставляет ей наслаждения. Кто же более жесток, мужчина или женщина? Вы, северяне, вообще понимаете любовь слишком серьезно и сурово. Вы толкуете о каких-то обязанностях там, где речь может идти только об удовольствиях.

— Это верно, сударыня, — однако взамен того у нас такие почтенные и добродетельные чувства и такие длительные союзы...

— И одновременно — это вечное жадное, ненасытное стремление к языческой наготе, — вставила она. — Но любовь как высшая радость, воплощенное божественное веселье — это не про вас, современных детей рефлексии. Вам такая любовь приносит одно несчастье. Желая быть естественными, вы впадаете в пошлость. Природа представляется вам чем-то враждебным, из нас, смеющихся богов Греции, вы сделали каких-то злых демонов, меня же представили дьяволицей. Мне достаются от вас одни попреки и проклятия, — или же, в порыве вакхического безумия, вы сами готовы *заклать себя как жертву на моем алтаре*. А если вдруг у кого-нибудь из вас достанет мужества поцеловать мои алые уста, он тотчас бежит искупать это паломничеством в Рим, босиком и в покаянном рубище, ожидая, чтоб высохший посох дал зеленые ростки, — тогда как под моими ногами вечно прорастают живые розы, фиалки и зеленый мирт, но вам не дано упиваться их ароматом. Оставайтесь же среди вашего северного тумана, в дыму христианского фимиама, — а нас, язычников, оставьте под грудой развалин, под застывшими потоками лавы, не откапывайте нас! Не для вас были воздвигнуты наши Помпеи, наши виллы, наши термы, наши храмы — не для вас! Вам не нужно богов! Мы гибнем в вашем холодном мире.

Мраморная красавица закашляла и плотнее запахнула темный соболий мех, облежавший ее плечи.

— Благодарю за преподанный классический урок, — ответил я. — Но вы ведь не станете отрицать, что по своей природе мужчина и женщина — и в вашем веселом, залитом солнцем мире, точно так же, как в нашем туманном, — враги; что любовь только на краткое время сливает их в единое существо, живущее единой мыслью, единым чувством, единой волей, чтобы потом тем решительнее развести их. И тогда — это вам известно лучше, чем мне, — тот, кто не сумеет подчинить другого себе, и оглянуться не успеет, как почувствует ярмо на своей шее.

— Притом, как правило, ярмо возлагается именно на мужчину! — воскликнула мадам Венера насмешливо и высокомерно. — Это-то уж *вы* лучше меня знаете.

— Конечно. Вот потому-то я и не строю себе иллюзий.

— То есть вы теперь мой раб без иллюзий... и я за то без сострадания буду попирать вас ногами...

— Сударыня!

— Разве вы до сих пор меня не знаете? Ну да, я жестока, — раз уж это слово доставляет вам такое удовольствие. И разве у меня нет на это права? Мужчина жадно стремится к обладанию, женщина — предмет этих стремлений; это ее единственное, но зато исключительное преимущество. Мужчина, обуреваемый стра-

тью, находится целиком во власти женщины, и та, которая не сумеет сделать его своим подданным, своим рабом, более того — своей игрушкой, чтобы затем со смехом изменить ему, — такая женщина просто неумна.

— Ваши принципы, глубокоуважаемая... — начал я, возмущенный.

— ...покоятся на тысячелетнем опыте, — насмешливо перебила меня божественная, перебирая белыми пальцами темный мех. — Чем более преданна женщина, тем скорее наступает отрезвление у мужчины, который незамедлительно превращается в тирана. Напротив того, чем более жестокой и неверной выкажет себя женщина, чем грубее она с ним обращается, чем легкомысленнее играет им, чем более к нему безжалостна, тем сильнее разгорается сладострастие мужчины, тем больше он ее любит, боготворит. Так было от века во все времена — от Елены и Далилы и до Екатерины II и Лолы Монтец.

— Не могу отрицать, — сказал я, — для мужчины нет ничего пленительнее образа прекрасной, сладострастной и жестокой женщины-деспота, весело, надменно и безумно, по первому капризу меняющей своих любимцев...

— И облаченной к тому же в меха! — воскликнула богиня.

— Как это пришло вам в голову?

— Мне известны ваши пристрастия.

— Но, знаете ли, — заметил я, — с тех пор, как мы с вами не виделись, вы стали большой кокеткой...

— О чем это вы, позвольте спросить?

— О том, что для вашего белоснежного тела нет и не может быть более великолепного обрамления, чем этот покров из темного меха, и что он...

Богиня засмеялась.

— Вы грезите! — промолвила она. — Проснитесь-ка! — И она схватила меня за руку своей мраморной рукой. — Да проснитесь же! — воскликнула она низким, грудным голосом.

Я с усилием открыл глаза.

Я увидел тормошившую меня руку, но рука эта оказалась вдруг темной, как из бронзы, и голос был сиплым, пьяным голосом моего денщика, стоявшего предо мной во весь свой почти саженный рост.

— Да вставайте же! Что это? Срам какой!

— Что такое? Почему срам?

— Срам и есть — заснуть одетым, да еще за книгой! — Он снял нагар с оплывших свечей и поднял выскользнувшую из моих рук книгу. — Да еще за сочинением (он открыл крышку переплета) Гегеля... И потом, давно пора уж к господину Северину ехать, он к чаю нас ждет.

* * *

— Станный сон!.. — проговорил Северин, когда я кончил рассказ. Облокотившись на колени, он обхватил лицо своими тонкими руками с нежными прожилками и глубоко задумался.

Я знал, что он долго так просидит, не шевелясь, почти не дыша; так это действительно и

было. Меня не поражало его поведение — ведь мы уже почти три года как были добрыми друзьями, и я успел привыкнуть ко всем его странностям.

А странным его и вправду можно было назвать, пусть он и вполонину не оправдывал той славы опасного безумца, каковую имел не только среди ближайших соседей, но и во всей Коломее. Я же проявлял к Северину не только интерес, за который прослыл среди соседей немножко свихнувшимся, — весь этот человек был мне в высшей степени симпатичен.

Для мужчины его положения и возраста — а он был галицийский дворянин и помещик, чуть за тридцать, — Северин выказывал себя на удивление трезвомыслящим человеком; его серьезность граничила с педантизмом. В основу своей жизни он положил полуфилософскую-полупрактическую систему, которой скрупулезно следовал, живя не только по этой системе, но одновременно также еще и по часам, по термометру, по барометру, по аэрометру, по гигрометру. Временами, однако, у него случались припадки страстности, во время которых всякий, глядя на него, считал его способным головой стену прошибить и тщательно избегал его, боясь попасться ему на дороге.

Пока он так долго сидел в молчанье, кругом раздавались разнообразные звуки: потрескивал в камине огонь, пыхтел большой почтенный самовар, поскрипывало старое прадедовское кресло, в котором я, покачиваясь, курил свою сига-

ру, трещал сверчок в стенах старого дома, — и глаза мои бесцельно блуждали по странной, оригинальной утвари, по скелетам животных, по чучелам птиц, по глобусам и гипсовым фигурам, которыми загромождена была его комната.

Вдруг мне на глаза случайно попала картина. Я часто видел ее и раньше, но отчего-то теперь я не мог оторвать от нее глаз: такое неизъяснимое впечатление произвела она на меня в эту минуту, освещенная красным отблеском пламени в камине.

На ней была изображена прекрасная женщина, с лучистой улыбкой на тонком, нежном лице, с пышной массой волос, собранных в античный узел, и с легким налетом белой пудры на них; опершись на левую руку, она сидела на оттоманке нагая, завернутая в меховой плащ, правая рука ее играла *хлыстом*, а обнаженная нога небрежно опиралась на спину мужчины, простершегося перед ней ниц, подобно рабу или верному псу.

И этот мужчина, с резкими, но правильными и красивыми чертами лица, с выражением затаенной тоски и беззаветной страсти поднимавший к ней горячий мечтательный взгляд мученика, этот мужчина, служивший для красавицы подножной скамейкой, — был сам Северин. Только без бороды — по-видимому, лет на десять моложе нынешнего.

— *Венера в мехах!* — воскликнул я, указывая на картину. — Такой я и видел ее во сне.

— Я тоже... — отозвался Северин. — Только я видел свой сон открытыми глазами.

— Как так?

— Ах, это очень глупая история.

— Твоя картина, вероятно, и послужила поводом для моего сна, — сказал я. — Ты должен мне рассказать, однако, что у тебя связано с этой картиной. Несомненно, она играла какую-то роль в твоей жизни, и, по-видимому, роль ключевую... Надеюсь, ты не утаишь от меня подробностей.

— Взгляни-ка на другую, ее pendant, — сказал мой странный друг, не обращая внимания на мои слова.

Другая представляла превосходную копию известной тичиановской «Венеры с зеркалом» из Дрезденской галереи.

— Ну, что же ты хочешь сказать своим сопоставлением? — Северин встал и указал на мех, в который Тициан облек свою богиню любви.

— Здесь тоже «Венера в мехах», — сказал он с тонкой улыбкой. — Не думаю, чтобы старый венецианец сделал это намеренно. Вероятно, он просто писал портрет какой-нибудь знатной Мессалины и был так любезен, что заставил Амура держать перед ней зеркало, в котором она с холодным довольством исследует свои величавые прелести; Амуру же, по-видимому, эта работа не очень по нутру.

Эта картина — сплошная лесть в красках. Впоследствии какой-нибудь «знаток» эпохи рококо окрестил эту даму именем Венеры, и меха

деспотической красавицы, в которые закуталась прекрасная натурщица Тициана, наверное не столько из целомудрия, сколько из боязни схватить насморк, сделались символом тирании и жестокости, таящихся в женщине и в ее красоте.

Но дело не в этом. Тициановская картина сама по себе является самой едкой, злой сатирой на нашу любовь. Венера, вынужденная на нашем погрязшем в рефлексах Севере, в ледяном христианском мире, кутаться в просторные, тяжелые меха — чтобы не простудиться!..

Северин засмеялся и закурил новую сигарету.

В эту самую минуту скрипнула дверь и в комнату вошла, неся нам к чаю холодное мясо и яйца, красивая полная блондинка, с умными приветливыми глазами, одетая в черное шелковое платье. Северин взял одно яйцо и разбил его краем ножа.

— Говорил я тебе, чтоб яйца были всмятку?! — крикнул он так резко, что молодая женщина вздрогнула.

— Но... Севчу, милый!.. — испуганно пробормотала она.

— Что «Севчу»! — закричал он снова. — Слушаться ты должна, понимаешь? Слушаться меня!

И он сорвал со стены кончук*, висевший рядом с его оружием. Как пугливая лань бросилась хорошенькая женщина к двери и быстро выскользнула из комнаты.

* Длинная плетка на короткой ручке. — *Прим. авт.*

— Ну, подожди... еще попадешься мне! — крикнул он ей вслед.

— Что с тобой, Северин! — сказал я, тронув его за руку. — Как можно так обращаться с этой очаровательной малышкой!

— Да ты посмотри на нее, — возразил он, шутливо подмигнув. — Если бы я с ней любезничал, она бы тут же заарканила меня, — а так, когда я ее воспитываю кончуком, она на меня молится...

— Полно тебе молоть чепуху!

— Это ты несешь вздор. Женщин необходимо дрессировать таким образом.

— По мне, так живи себе, если угодно, как паша в своем гареме, но не навязывай мне никаких теорий...

— Почему бы и не потеоретизировать? — с живостью воскликнул он. — Знаешь гётевское: «Ты должен быть либо молотом, либо наковальной»? Ни к чему это не применимо в такой мере, как к отношениям между мужчиной и женщиной; об этом тебе, между прочим, толковала и мадам Венера в твоём сне. На страсти мужчины основано могущество женщины, и она отлично умеет воспользоваться этим, если мужчина оказывается недостаточно предусмотрительным. Перед ним один только выбор — быть либо тираном, либо рабом. Стоит ему поддаться чувству на миг — и шея его уже окажется в ярме, и он тотчас почувствует на себе кнут.

— Диковинная теория!

— Не теория, а практика, опыт, — возразил он, кивнув головой. — *Меня в самом деле хлестали кнутом*, это не шутка... Теперь я излечился. Хочешь узнать, как это все случилось?

Он встал и вынул из ящика своего массивного письменного стола небольшую рукопись, которую положил передо мной на стол.

— Ты прежде спрашивал меня о той картине, — сказал он. — Я давно уже должен тебе кое-что объяснить. Вот возьми, прочти!

Северин сел у камина спиной ко мне и глубоко задумался. Судя по выражению его лица, можно было подумать, что он грезит наяву. Снова в комнате все стихло, слышны были только треск дров в камине, тихое гудение самовара и стрекотание сверчка за старой стеной.

Я раскрыл рукопись и прочел:

«ИСПОВЕДЬ МЕТАФИЗИКА»

На полях рукописи красовались, в качестве эпиграфа, видоизмененные известные стихи из Фауста:

«Тебя, метафизик, чувственник,
женщина водит за нос!

Мефистофель».

Я перевернул заглавный лист и прочел:

«Нижеследующее я составил по своим тогдашним заметкам в дневнике; непосредственно воспроизвести прошлое трудно, а так все сохраняет свою свежесть, правдивые краски настоящего».

* * *

Гоголь, этот русский Мольер, где-то говорит — не помню, где именно... ну, все равно, — что истинный юмор — это тот, в котором сквозь «видимый миру смех» струятся «незримые миру слезы».

Дивное изречение!

Порой, когда я пишу этот дневник, меня охватывает странное настроение.

Воздух кажется мне напоенным волнующими ароматами цветов, которые опьяняют меня и вызывают головную боль. В извивающихся струйках дыма мне чудятся образы маленьких седовласых кобольдов, насмешливо указывающих на меня пальцами. По подлокотникам моего кресла и по моим коленям, мнится мне, скользят верхом толстощекие амурсы, — и я невольно улыбаюсь, даже громко смеюсь, записывая свои приключения... И все же я пишу не обыкновенными чернилами, а красной кровью, которая сочится у меня из сердца, потому что теперь вскрылись все его зарубцевавшиеся раны, и оно сжимается и болит, и то и дело каплет слеза на бумагу.

* * *

В ленивой праздности тянутся дни в маленьком курорте в Карпатах. Никого не видишь, никто тебя не видит. Скучно до того, что хоть садись идилии сочинять. У меня здесь столько досуга, что я мог бы написать целую галерею

картин, мог бы снабдить театр новыми пьесами на целый сезон, для целой дюжины виртуозов написать концерты, трио и дуэты, но... что толковать! — в конце концов я успеваю только натянуть холст, разложить листы бумаги, разлиновать нотные тетради, потому что я...

Только без ложного стыда, друг Северин! Лги другим, но обмануть себя самого тебе уже не удастся. Итак, скажем правду: потому что я не что иное, как дилетант. Только дилетант — и в живописи, и в литературе, и в музыке, и еще кое в чем из тех так называемых бесхлебных искусств, жрецы которых получают от них нынче министерские доходы, а порой и положение маленьких владетельных князей... Ну и прежде всего я — дилетант в жизни.

Жил я до сих пор так же, как писал картины и книги, то есть я ушел не дальше грунтовки, планировки, первого акта, первой строфы. Бывают такие люди, которые вечно только начинают и никогда не доводят до конца; вот и я один из таких людей.

Но к чему вся эта болтовня?

К делу.

Я высовываюсь из окна и нахожу, в сущности, бесконечно поэтичным то гнездо, в котором я изнываю. Вид отсюда — на высокую голубую стену гор, облитую золотистым солнечным светом, вдоль которой извиваются стремительные каскады ручьев, словно серебряные ленты... Как ясно и сине небо, в которое упираются снеговые вершины; как зелены и ярко свежи

лесистые откосы, луга с пасущимися на них стадами, вплоть до желтых волн зреющих нив, среди которых мелькают фигуры жнецов, то исчезая, нагнувшись, то снова выныривая.

Дом, в котором я живу, расположен среди своеобразного парка, или леса, или лесной чащи — это можно назвать как угодно; стоит он очень уединенно.

Никто в нем не живет, кроме меня и какой-то вдовы из Львова, да еще домовладелицы Тартаковской — маленькой, старенькой женщины, которая с каждым днем становится меньше ростом и старее, — да старого пса, хромящего на одну ногу, да молодой кошки, вечно играющей с тем же клубком ниток; а клубок ниток принадлежит, я полагаю, прекрасной вдове.

А она, кажется, действительно красива, эта вдова, и еще очень молода, ей не больше двадцати четырех лет, и очень богата. Она живет на втором этаже, а я на первом. Зеленые жалюзи на ее окнах всегда опущены, балкон — весь заросший зелеными вьющимися растениями. Зато у меня есть внизу милая, уютная беседка, обвитая диким виноградом, в которой я читаю, пишу, рисую, пою — как птица в ветвях.

Из беседки мне виден балкон. Иногда я поднимаю глаза к нему и время от времени вижу, как сквозь густую зеленую сеть мелькает белое платье.

В сущности, меня очень мало интересует красивая женщина там, наверху, потому что я влюблен в другую, и, надо сказать, до послед-

ней степени безнадежно влюблен — еще гораздо более безнадежно, чем рыцарь Тоггенбург и Шевалье в Манон Леско, — потому что моя возлюбленная... из камня.

В саду, там, в маленькой чаще, есть восхитительная лужайка, на которой мирно пасутся две-три ручные лани. На этой лужайке стоит каменная статуя Венеры — кажется, копия той, что находится во Флоренции. Эта Венера — самая красивая женщина, которую я когда-либо в жизни видел.

Это еще не так много значит, правда, — потому что я видел мало красивых женщин, я вообще мало видел женщин; я и в любви дилетант, никогда не уходивший дальше грунтовки, первого акта.

Но к чему тут превосходная степень — «самая красивая», — как будто то, что прекрасно, может быть превзойдено?

Довольно того, что эта Венера прекрасна и что я люблю ее — так страстно, так болезненно нежно, так безумно, как можно любить только женщину, неизменно отвечающую на любовь вечно одинаковой, вечно спокойной, каменной улыбкой. Да я буквально молюсь на нее.

Часто, когда солнце жаром своим пронизывает лесную чащу, я укладываюсь близ нее под сенью молодого бука и читаю; часто я посещаю мою холодную, жестокую возлюбленную и по ночам, — тогда я становлюсь пред ней на колени, прижавшись лицом к холодным камням, на которых покоятся ее ноги, и беззвучно молюсь ей.

Нет слов выразить эту красоту, особенно когда вдруг восходит луна — теперь она как раз близится к полнолунию — и плывет среди деревьев, и лужайка залита серебряным блеском... а богиня стоит, словно просветленная, и как будто купается в ее мягком сиянии.

Однажды, возвращаясь с такой молитвы, я заметил: в одной из аллей, ведущих к дому, мелькнула вдруг, отделенная от меня одной только зеленой шпалерой, женская фигура — белая, как мрамор, и облитая лунным светом. На мгновение меня охватило такое чувство, как будто моя прекрасная каменная богиня сжалилась надо мной и ожила и последовала за мной... И душу мне сковал безотчетный страх, сердце трепетало, словно готовое разорваться, — и вместо того чтобы...

Ну да ведь я дилетант. И как всегда, я застрял на втором стихе... Нет, я не застрял, наоборот, — я побежал прочь так быстро, как только хватало сил.

* * *

Вот ведь счастливый случай! У еврея, торговца фотографиями, оказался снимок с моего идеала! Небольшая репродукция — «Венера с зеркалом» Тициана... Что за женщина! Я напишу стихотворение. Нет! Я возьму листок и подпишу под ним: *«Венера в мехах»*.

Ты зябнешь — ты, сама зажигающая пламя! Закутайся же в свои деспотические меха, — кому они приличествуют, если не тебе, жестокая богиня любви и красоты!..

И через некоторое время я прибавил к подписи несколько стихов из Гете, которые я недавно нашел в его «Паралипоменах» к Фаусту.

«Амуру!

Обманчивые крылышки
и стрелы — не стрелы, а когти,
и венки прикрывает рожки.
Сомнения нет:
как все боги Греции, и он — лишь
замаскировавшийся дьявол».

Затем я поставил фотографию перед собой на стол, оперев ее о книгу, и принялся рассматривать изображение.

Холодное кокетство прекрасной женщины, с которым она драпирует свою красоту темными собольими мехами, строгость, жестокость, лежащая в дивных чертах мраморного лица, меня чаруют и в то же время внушают мне ужас.

Я снова берусь за перо, и вот что ложится на бумагу: «Любить, быть любимым — какое счастье! И все же как бледнеет очарование этого счастья перед полным муки блаженством — боготворить женщину, которая делает нас своей игрушкой, быть рабом прекрасной тиранки, безжалостно попирающей тебя ногами. Даже Самсон — этот великан — отдался еще раз в руки Далилы, изменившей ему, и она еще раз предала его, и филистимляне связали его в ее присутствии и выкололи ему глаза, пылающие яростью и светящиеся любовью, — глаза, до последнего мгновения прикованные к прекрасной изменнице».

Я завтракал в своей беседке и читал Книгу Юдифи и завидовал злому язычнику Олоферну: его кроваво-прекрасной кончине, его главе, отсеченной рукой той царственной красавицы.

«И покарал его Господь и отдал его в руки женщины».

Эта фраза поразила меня.

Как нелюбезны эти евреи, думал я. Да и сам Бог их! Мог же он выбрать поприличнее выражения, говоря о прекрасном поле!

«Бог покарал его и отдал в руки женщины», — повторил я про себя.

Что бы мне придумать, что совершить, чтобы он покарал меня?

Ах, ради бога... Опять является эта домохозяйка; за ночь она снова несколько сморщилась и стала еще немножко меньше. А там, наверху, опять что-то белеет меж зеленых ветвей...

Венера или вдова?

На этот раз вдова, потому что госпожа Тартаковская, сделав книксен, просит у меня от ее имени книг для чтения.

Я бегу к себе в комнату и быстро тащу со стола пару томов.

Слишком поздно уже я вспоминаю, что в одном из них лежит моя репродукция — Венера. И теперь она у белой женщины там, наверху, вместе со всеми моими излияниями.

Что-то она об этом скажет?

Я слышу: она смеется.

Не надо мной ли?

* * *

Полнолуние! Вон уже вышла луна из-за вершушек невысоких елей, окаймляющих парк, и серебристый свет заливает террасу, купы деревьев, все пространство окрест, насколько видит глаз, и мягко трепещет вдали, словно зыбкая поверхность вод.

Что-то так странно манит, зовет меня... Я не в силах противиться. Одеваюсь снова и выхожу в сад.

Меня влечет туда, на лужайку, к ней — к моей богине, к моей возлюбленной.

Прохладная ночь. Я зябну от свежести. Воздух опьяняет тяжелым ароматом цветов, лесной чащи.

Как торжественно вокруг! Какая музыка ночи!.. Томительно рыдает соловей. Звезды тихо мерцают в бледно-голубой выси. Лужайка кажется гладкой, как зеркало, как ледяной покров пруда.

Светло и величаво высится предо мной статуя Венеры.

Но что это там темнеет?..

С мраморных плеч богини ниспадает до самых ступней ее длинное меховое одеяние...

Я стою в оцепенении, не сводя с нее глаз, — и снова чувствую, как меня охватывает тот неопиcуемый страх... и бегу прочь.

Я бегу торопливо, все ускоряя шаг, — и вдруг замечаю, что ошибся аллеей. Возвращаюсь, и только я вознамерился направиться в один из боковых зеленых коридоров, как лицезрею сидящую прямо передо мной, на каменной скамье Венеру, мою прекрасную каменную богиню... нет! живую, настоящую богиню любви — из плоти и крови.

Да, она ожила для меня — как статуя Галатеи, начавшая дышать для своего творца... Правда, чудо совершилось только наполовину: еще из камня ее белые волосы, еще мерцают, как лунные лучи, ее белые одежды... или это атлас?.. А с плеч ниспадает темный мех... Но губы уже красны, и окрашиваются щеки, и из очей ее исходят и проникают в мои глаза два дьявольских зеленых луча. И вот она смеется!

О, какой это странный смех, неизъяснимый!.. У меня захватывает дух, и я бегу, бегу без оглядки, но через каждые несколько шагов вынужден останавливаться, чтобы перевести дух... А этот насмешливый хохот преследует меня через темные сплетения листвы, через озаренные светом дерновые площадки, сквозь чащу, в которую проникают одинокие лунные лучи... Я сбился, мечусь по дорожкам, не знаю, куда идти; на лбу у меня выступают крупные капли холодного пота.

Наконец я останавливаюсь и произношу краткий монолог.

Ведь наедине с самими собой люди всегда бывают или очень любезны, или очень грубы.

И вот я говорю себе:

— Осел!

Волшебное действие оказывает это коротенькое слово, точно заклинание, от которого вмиг рассеялись чары, и я наконец-то прихожу в себя.

Мгновенно я успокаиваюсь и удовлетворенно повторяю:

— Осел!

И вот я снова вижу все отчетливо и ясно. Вот фонтан, вон буковая аллея, а вон там и дом. И я медленно направляюсь теперь к нему.

Вдруг — еще раз, внезапно — за зеленой стеной, залитой лунным сиянием, затканной серебром, — еще раз мелькнула белая фигура, прекрасная каменная женщина, которую я боготворю, которой я боюсь, от которой я бегу.

Два-три прыжка — и я дома, перевожу дух и задумываюсь.

Что же теперь? Что я такое: маленький дилетант или большой осел?

* * *

Знойное утро: душно, воздух напоен крепкими, волнующими ароматами.

Я снова сижу в своей беседке, увитой диким виноградом, и читаю «Одиссею». Читаю об очаровательной волшебнице, превращающей своих поклонников в свиней. Дивный образ античной любви.

Тихо шелестят ветви и стебли, шелестят листы моей книги, что-то шелестит и на террасе.

Женское платье...

Вот *она*, Венера, только без мехов... нет! теперь другая... это вдова!.. И все же... она. Венера! О, что за женщина!

Вот она предо мной — в легком белом утреннем одеянии — и смотрит на меня... Какой поэзией, какой дивной прелестью и грацией дышит ее изящная фигура!

Она не высока, но и не мала ростом. Головка — не строгой красоты, она скорее обаятельна, как головка французской маркизы XVIII столетия. Но как обворожительна! Мягкий и нежный рисунок не слишком маленького рта, чарующая шаловливость в выражении полных губ... кожа так нежно-прозрачна, что всюду сквозят голубые жилки — не только на лице, но и на закрытых тонкой кисеей руках и груди... роскошно вьющиеся волосы с красным отливом... да, волосы рыжи — не белокуры, не золотисты, — рыжи, но как демонически прекрасно и в то же время прелестно, нежно обвивают они затылок... Вот сверкнули ее глаза — словно две зеленые молнии... Да, они зеленые, эти глаза, с их неизъяснимым выражением, кротким и властным, — зеленые, но того глубокого таинственного оттенка, какой бывает в драгоценных камнях, в бездонных горных озерах.

Она заметила мое смущение, — а растерялся я до невежливости, до того, что забыл встать, снять головной удар.

Она лукаво улыбнулась.

Наконец я подымаюсь, кланяюсь. Она подходит ближе и раздражается звонким, почти дет-

ским смехом. Я что-то бормочу, запинаясь, — как только и может бормотать в такую минуту маленький дилетант или большой осел.

Так мы познакомились.

Богиня осведомилась о моем имени и назвала свое.

Ее зовут Ванда фон Дунаева.

И она действительно моя Венера.

— Но, сударыня, как пришла вам в голову такая идея?

— Мне ее подала картинка, лежавшая в одной из ваших книг...

— Я забыл ее там...

— Ваши странные заметки на обороте...

— Почему странные?

Она смотрела мне прямо в глаза.

— Мне всегда хотелось встретить настоящего мечтателя-фантаста... ради разнообразия... Ну а вы мне кажетесь, судя по всему, одним из самых безудержных...

— Многоуважаемая... в самом деле... — И я чувствую, что у меня опять глупо, идиотски спотыкается язык, и в довершение я краснею — так, как это еще прилично было бы шестнадцатилетнему юноше, но не мужчине, который почти на целых десять лет старше.

— Вы сегодня ночью испугали меня.

— Да, собственно, дело в том, что... не угодно ли вам, впрочем, присесть?

Она села, видимо забавляясь моим испугом, — а мне и в самом деле, даже теперь, среди бела дня, становилось все более и более страш-

но, — очаровательная усмешка тронула ее верхнюю губу.

— Вы понимаете любовь, — заговорила она, — и прежде всего женщину, как нечто враждебное, как то, от чего вы стараетесь, хотя и тщетно, защититься, но чью власть вы воспринимаете, однако, как сладостную муку, как щекочущую нервы жестокость. Взгляд вполне современный.

— Вы с ним не согласны?

— Я с ним не согласна, — подхватила она быстро и решительно и несколько раз покачала головой, отчего локоны ее зазмеились, как огненные струйки. — Для меня веселая чувственность эллинской любви — радости без страдания — идеал, который я стремлюсь осуществлять в личной жизни. Потому что в ту любовь, которую провозглашает христианство, которую проповедают современные люди, эти рыцари духа, — в нее я не верю. Да, да, смотрите на меня. Я не только еретичка — гораздо хуже: я — язычница.

Не думала долго богиня любви,
Когда ей понравился в роще Анхиз.

Меня всегда восхищали эти стихи из римской элегии Гёте.

Естественна одна только такая любовь, любовь героической эпохи, та, которой «любили боги и богини». Тогда — «за взглядом следовало желание, за желанием следовало наслаждение».

Все иное — надуманно, неискренно, искусственно, аффектировано. Благодаря христианству — этой жестокой эмблеме его, кресту... душа моя содрогается ужасом от него... — в природу и ее безгрешные инстинкты были внесены элементы чуждые, враждебные.

Борьба духа с чувственным миром — вот евангелие современности. Я не принимаю его!

— Да, вам бы жить на Олимпе, сударыня, — ответил я. — Ну а мы, современные люди, не переносим античной веселости — по крайней мере, в любви. Одна мысль — делить женщину, хотя бы она была какой-нибудь Аспазией, с другими — нас возмущает; мы ревнивы, как наш Бог. И вот почему у нас имя очаровательной Фрины стало бранным словом.

Мы предпочитаем скромненькую, бледную гольбейновскую деву, принадлежащую только нам, — античной Венере, которая, как бы она ни была божественно прекрасна, любит сегодня Анхиза, завтра Париса, послезавтра Адониса. И если случится, что в нас одерживает верх стихийная сила и мы отдаемся пламенной страсти к подобной женщине, то ее жизнерадостная веселость нам кажется демонической силой, жестокостью, и в нашем блаженстве мы видим грех, который требует искупления.

— Значит, и вас привлекает современная женщина? Эта несчастная истеричка, которая как сомнамбула вечно бродит в поисках воображаемого идеала мужчины, в своем бреде не умея оценить лучшего мужчину, в вечных сле-

зах и муках, ежеминутно изменяет своему христианскому долгу; мечется, обманывая, и обманывается сама; выбирает, покидает и снова бросается на поиски, не умея ни изведать счастье, ни дать счастье, и только клянет судьбу — вместо того чтобы спокойно признаться себе: я хочу любить и жить, как любили и жили Елена и Аспазия.

Природа не знает прочных и длительных отношений между мужчиной и женщиной!

— Сударыня...

— Дайте мне договорить. Это мужчина в своем эгоизме стремится схоронить женщину, словно какое-то сокровище. Все попытки внести постоянство в самую изменчивую из всех изменчивых сторон человеческого бытия — любовь — посредством священных обрядов, клятв и договоров потерпели крушение. Можете ли вы отрицать, что наш христианский мир рушится?

— Но, сударыня...

— Но одинокие мятежные личности, восстающие против общественных устоев, изгоняются, предаются позору, забрасываются камнями... — вы это хотели сказать, конечно? Ну, хорошо. У меня достанет смелости прожить свою жизнь согласно своим языческим принципам. Я отказываюсь от вашего лицемерного уважения, я предпочитаю быть счастливой.

Тот, кто выдумал христианский брак, отлично сделал, выдумав одновременно и бессмертие. Но я нисколько не пекусь о жизни вечной: если с последним моим вздохом здесь, на зем-

ле, для меня как для Ванды фон Дунаевой все кончено — не все ли равно, воссоединится ли мой чистый дух в песнопении с хором ангелов, или же мой прах сольется в материю для новых существ?

А если я сама, такая, какая я есть, больше жить не буду — во имя чего же я стану отказываться от радостей? Принадлежать человеку, которого я не люблю, только потому, что я когда-то его любила? Нет! Я не хочу отречения — я буду любить всякого, кто мне нравится, и дам счастье всякому, кто меня полюбит. Разве это гадко? Нет. И уж во всяком случае, это гораздо красивее, чем если бы я стала упиваться мучениями, которые я причиняю, добродетельно отворачиваясь от бедняги, изнывающего от страсти ко мне. Я молода, хороша собой и богата — и живу для удовольствия, для наслаждения.

Она говорила, и глаза ее светились лукавством; я схватил ее руки, хорошенько не сознавая, для чего, но потом, как истинный дилетант, поспешно выпустил их.

— Ваша искренность восхищает меня, — сказал я, — и не одна она...

Опять все то же — проклятый дилетантизм сковал мне язык!

— Что же вы хотели сказать?

— Что я хотел?.. Да, я хотел... простите... сударыня... я перебил вас.

— Что такое?

Долгая пауза. Наверное, она произносит про себя целый монолог, который в переводе на

мой язык исчерпывается одним-единственным словом: осел!

— Если позволите спросить, сударыня, — заговорил я наконец, — как вы дошли до... до этого образа мыслей?

— Очень просто. Мой отец был человек очень умный. Меня с самой колыбели окружали копии античных статуй, в десятилетнем возрасте я читала Жиль Блаза. В то время как большинство детей считают своими друзьями «Мальчика с пальчик», «Синюю бороду» и «Золушку», моими друзьями были Венера и Аполлон, Геркулес и Лаокоон. Муж мой был человек веселый, жизнерадостный; ничто не могло надолго омрачить его чело, даже неизлечимая болезнь, постигшая его вскоре после того, как мы поженились.

Даже в ночь накануне своей смерти он взял меня к себе в постель, а в течение долгих месяцев, которые он провел в своем кресле-каталке, он часто шутливо спрашивал меня: «У тебя уже есть поклонник?» Я сгорала от стыда.

А однажды он прибавил: «Не обманывай меня, это было бы гадко. А красивого мужчину себе найди, а лучше даже сразу нескольких. Ты чудесная женщина, но при этом еще наполовину ребенок, тебе нужны игрушки».

Излишне, надеюсь, было бы говорить, что, покуда он был жив, я поклонников не имела; но муж воспитал меня такой, какова я теперь: гречанкой.

— Богиней... — поправил я.

— Какой именно? — спросила она, улыбаясь.

— Венерой!

Она погрозила мне пальцем и нахмурила брови.

— И даже «Венерой в мехах»... Погодите же, у меня есть большая-пребольшая шуба, в которую можно закутать вас целиком, я поймаю вас ею, словно сетью.

— Так вы полагаете, — заговорил я торопливо, поскольку меня осенила мысль, которая в ту минуту показалась мне, несмотря на всю свою простоту и банальность, очень дельной, — вы полагаете, что ваши идеи возможно реализовать в наше время? Что Венера может разгуливать во всей своей неприкрытой и радостной красоте в мире железных дорог и телеграфов?

— Неприкрытой? Конечно же нет! В мехах! — воскликнула она смеясь. — Хотите увидеть мои?

— И потом...

— Что же «потом»?

— Красивые, свободные, веселые и счастливые люди, какими были греки, возможны только тогда, когда существуют *рабы*, которые выполняют всю обыденную, повседневную работу и которые, прежде всего, прислуживают им.

— Разумеется, — весело ответила она. — И прежде всего целая армия рабов необходима олимпийской богине вроде меня. Берегитесь же!

— Почему?

Я сам испугался той смелости, с которой у меня вырвалось это «почему». Она же нисколько не испугалась; у нее только слегка приоткрылись губы, так что сверкнули маленькие белые зубы, и проронила вскользь, словно речь шла о чем-то таком, о чем не стоило и говорить:

— Хотите быть моим рабом?

— Любовь не знает разграничений, — ответил я торжественно и серьезно. — Но если бы я имел право выбора — властвовать или быть под пятой, — то мне показалась бы гораздо более привлекательной роль раба прекрасной женщины. Но где найти женщину, которая не добивалась бы превосходства посредством мелочной сварливости, а сумела бы властвовать спокойно, сознавая свою силу?

— Ну, это-то как раз не трудно.

— Вы полагаете?..

— Ну, я, например. — Она засмеялась, откинувшись на спинку скамьи. — У меня талант — быть деспотом... есть у меня и необходимые меха... Но вы сегодня ночью всерьез испугались меня?

— Вполне.

— А теперь?

— Теперь... как раз теперь-то и начинаю по-настоящему бояться вас!

* * *

Мы встречаемся теперь ежедневно, я и... Венера. Много времени проводим вместе, вместе завтракаем у меня в беседке, чай пьем в ее ма-

ленькой гостиней, и у меня есть прекрасная возможность развернуть все свои незначительные, весьма незначительные таланты. Для чего же я, в самом деле, учился всем наукам, пробовал силы во всех искусствах, если бы не сумел блеснуть перед маленькой хорошенькой женщиной?

Но эта женщина — отнюдь не маленькая и привлекает меня страшно. Сегодня я попробовал нарисовать ее — и только тут отчетливо понял, насколько не подходят современные туалеты к этой головке камеи. В чертах ее мало римского, но очень много греческого.

Мне хочется изобразить ее то в виде Психеи, то в виде Астарты, сообразно изменчивому выражению ее глаз — одухотворенно-мечтательному или же истомно-сладострастному, когда лицо ее пылает огнем желания. Она же предпочитает, чтобы я написал ее портрет.

Что ж, пусть будет так — я закутаю ее в меха.

О, как мог я колебаться хотя бы минуту! Кому, как не ей, пристало носить царственные меха?

* * *

Вчера вечером я был у нее и читал ей римские элегии. Потом, отложив книгу, начал импровизировать. Кажется, ей понравилось, даже более того: ее глаза были буквально прикованы к моим губам, и грудь ее прерывисто вздымалась.

Или мне это только показалось?

Дождь меланхолично стучал в оконные стекла, огонь мягко, по-зимнему, потрескивал в камине — я почувствовал себя так по-домашнему... На мгновение забыв свое почтительное обожание, я поцеловал руку красавицы, и она не рассердилась.

Тогда я сел у ее ног и прочел маленькое стихотворение, которое написал для нее.

Я молил в нем свою «Венеру в мехах», ожившую героиню мифа, дьявольски прекрасную женщину, мраморное тело которой покоится среди мирта и агав, положить свою ногу на голову ее раба.

На этот раз мне удалось пойти дальше первой строфы, но по ее повелению я отдал ей в тот вечер листок, на котором записал это стихотворение, и, так как копии у меня не осталось, теперь я могу припомнить его только в общих чертах.

Странное чувство владеет мною. Едва ли я влюблен в Ванду — по крайней мере, при первой нашей встрече я вовсе не испытал той молниеносной вспышки страсти, с которой обыкновенно и начинается влюбленность. Но ее необычайная, поразительная, поистине божественная красота мало-помалу околдовывает меня.

Чувство это не похоже и на возникающую сердечную привязанность. Это какая-то психическая порабощенность, усугубляющаяся медленно, постепенно, но тем полнее и бесповоротнее.

С каждым днем мои страдания становятся все сильнее, нестерпимее, а она — она лишь усмехается.

* * *

Сегодня она сказала мне вдруг, безо всякого повода:

— Вы меня интересуете. Большинство мужчин столь обыкновенны — в них нет вдохновения, пафоса, поэзии; а в вас есть известная глубина, энтузиазм и, главное, серьезность, которая мне нравится. Я могла бы вас полюбить.

* * *

После недолгого, но сильного грозового ливня мы отправились на лужайку, к статуе Венеры. Над землей подымался пар, клубы его неслись к небу, словно жертвенный фимиам; над нашими головами раскинулась разорванная радуга; ветви деревьев еще роняли капли дождя, но воробьи и зяблики уже прыгали с ветки на ветку и возбужденно щебетали, словно чему-то радуясь. Воздух был напоен свежими ароматами.

Через мокрую лужайку трудно пройти; она вся блестит и искрится на солнце, словно маленький пруд, над подвижным зеркалом которого высится богиня любви, — а рой мошек вокруг ее головы в лучах солнца кажется живым ореолом.

Ванда наслаждается восхитительной картиной и, желая отдохнуть, опирается на мою руку,

так как на скамьях в аллее еще не высохла вода. Все существо ее дышит сладостной истомой, глаза полузакрыты, дыхание ласкает мою щеку.

Я ловлю ее руку и — положительно не знаю, как я решился! — спрашиваю ее:

— Могли бы вы полюбить меня?

— Отчего нет? — отвечает она, остановив на мне свой спокойный и ясный, как солнце, взор. — Но ненадолго.

Через мгновение я уже стою перед ней на коленях, прижимаясь пылающим лицом к душистым складкам ее кисейного платья.

— Ну, Северин... ведь это неприлично!

Но я ловлю ее маленькую ногу и прижимаюсь к ней губами.

— Вы становитесь все неприличнее! — восклицает она, вырываясь, и быстро убегает в дом, оставив в моей руке свою милую, милую туфельку.

Что это? Знак свыше?

* * *

Весь день не решался я показаться ей на глаза. Перед вечером я сидел у себя в беседке, — вдруг обворожительная огненная головка мелькнула сквозь вьющуюся зелень ее балкона.

— Отчего же вы не приходите? — нетерпеливо крикнула она мне сверху.

Я взбежал на лестницу, но у самой двери меня вновь охватила робость, и я тихонько постучался. Сказав «войдите», она, однако, сама отворила дверь, остановившись на пороге.

— Где моя туфля?

— Она... я ее... я хочу... — бессвязно забормотал я.

— Принесите ее, потом мы будем вместе чай пить и поболтаем.

Когда я вернулся, она возилась за самоваром. Я торжественно поставил туфельку на стол и отошел в угол, как мальчишка, ожидающий наказания.

Я заметил, что у нее был немного нахмурен лоб и вокруг губ легла какая-то строгая, властная складка, которая привела меня в восторг.

Вдруг она звонко расхохоталась.

— Значит, вы... в самом деле влюблены... в меня?

— Да, и страдаю сильнее, чем вы думаете.

— Страдаете? — И она снова засмеялась.

Я был возмущен, пристыжен, уничтожен; но она ничего этого не заметила.

— Отчего же? — продолжала она. — Я отношусь к вам очень хорошо, сердечно.

Она протянула мне руку, посмотрев чрезвычайно дружелюбно.

— И вы согласитесь быть моей женой?

Ванда взглянула на меня... Не знаю, как бы это поточнее выразить... — прежде всего, думаю, изумленно, но притом и немного насмешливо.

— Откуда это вы вдруг столько храбрости набрались? — проговорила она.

— Храбрости?..

— Да, храбрости — жениться вообще и на мне в особенности? Так скоро вы подружились

вот с этим? — Она подняла туфельку. — Но оставим шутки. Вы в самом деле хотите жениться на мне?

— Да.

— Ну, Северин, это дело серьезное. Я верю, что вы любите меня, я тоже люблю вас, более того — нам интересно друг с другом, нам не грозит, следовательно, опасность скоро наскучить друг другу. Но ведь я, вы знаете, легкомысленная женщина, потому-то я и отношусь к браку очень серьезно, и, беря на себя какие-нибудь обязанности, я хочу иметь возможность их исполнить. Но я боюсь... нет... вам будет больно услышать это.

— Будьте искренни со мной, прошу вас! — настаивал я.

— Ну, хорошо, скажу откровенно: я не думаю, чтоб я могла любить мужчину дольше, чем...

Она грациозно склонила головку набок, размышляя.

— Дольше года?

— Что вы говорите! Дольше месяца, вероятно.

— И меня не дольше?

— Ну, вас... вас, может быть, два.

— Два месяца! — воскликнул я.

— Два месяца — это очень долго.

— Сударыня, это более чем антично...

— Вот видите, вы не выносите правды.

Ванда прошлась по комнате, потом вернулась к камину и, прислонившись к нему, оперлась рукой о карниз, молча глядя на меня.

— Что же мне с вами делать? — произнесла она несколько секунд спустя.

— Что хотите, — покорно ответил я, — все, что вам доставит удовольствие...

— Как вы непоследовательны! — воскликнула она. — Сначала требуете, чтобы я стала вашей женой, а потом отдаете мне себя, как игрушку.

— Ванда... я люблю вас!

— Так мы снова вернемся к тому, с чего начали. Вы любите меня и хотите, чтобы я была вашей женой, — но я не хочу вступать в новый брак, потому что сомневаюсь в прочности моих и ваших чувств.

— А если я хочу рискнуть, решившись на брак с вами?

— Тогда остается еще вопрос: хочу ли рискнуть я, — спокойно возразила она. — Я вполне допускаю, что могла бы отдаться одному на всю жизнь; но в таком случае это должен быть настоящий мужчина, который бы импонировал мне, который властно подчинил бы меня силой своей личности, — понимаете? А все мужчины — мне это хорошо известно! — едва только влюбятся, становятся слабыми, покладистыми, смешными, отдаются всецело в руки женщины, пресмыкаясь пред ней во прахе. Между тем я могла бы долго любить только того, перед кем мне самой пришлось бы ползать на коленях. Но вы мне так полюбились, что я... хочу попробовать.

Я бросился к ее ногам.

— Боже мой, вот вы уже и на коленях! — насмешливо произнесла она. — Хорошо же вы начинаете!

Когда я поднялся, она продолжила:

— Даю вам год сроку — чтобы покорить меня, чтобы убедить меня в том, что мы подходим друг другу, что мы можем жить вместе. Если вам это удастся, я буду вашей женой — притом такой женой, Северин, которая будет строго и добросовестно исполнять свои обязанности. В течение этого года мы будем жить, как в браке.

Кровь бросилась мне в голову. Загорелись и ее глаза.

— Мы поселимся вместе, у нас будет единый образ жизни — посмотрим, сможем ли мы ужиться. *Предоставляю вам все права супруга, поклонника, друга.* Довольны вы?

— Я должен быть доволен.

— Вы ничего не *должны*.

— Ну так я хочу...

— Превосходно. Это слова мужчины. Вот вам моя рука.

* * *

Десять дней как я не расстаюсь с ней ни на час, мы расходимся только на ночь, я могу непрерывно смотреть в ее глаза, держать ее руки, слушать ее речи, всюду сопровождать ее.

Моя любовь представляется мне глубокой, бездонной пропастью, в которую я погружаюсь все больше и больше, из которой меня уже никто не может спасти.

Сегодня днем мы улеглись на лужайке у подножия статуи Венеры. Я рвал цветы и бросал ей на колени, а она плела из них венки, которыми мы убирали нашу богиню.

Вдруг Ванда посмотрела на меня таким странным, затуманенным взглядом, что все существо мое вспыхнуло пламенем страсти. Потеряв самообладание, я обвил ее руками и прильнул губами к ее устам. Она крепко прижала меня к бурно вздымающейся груди.

— Вы не сердитесь? — спросил я.

— Я никогда не сержусь на то, что естественно. Я боюсь только, что вы страдаете.

— О, страшно страдаю...

— Бедный друг... — проговорила она, проведя рукой по моему лбу и откинув с него спутавшиеся пряди волос. — Но я надеюсь, не по моей вине?

— Нет... но все же моя любовь к вам превратилась в какое-то безумие. Мысль о том, что я могу вас потерять — и, возможно, действительно потеряю, — мучает меня день и ночь.

— Но вы ведь еще и не обладаете мной, — сказала Ванда и снова взглянула на меня тем трепетным, влажным, жадно-горячим взглядом, от которого кровь закипела в моих жилах.

Быстро поднявшись, она своими маленькими прозрачными руками возложила венок из синих анемонов на белую кудрявую голову Венеры. Не в силах более сдерживаться, я обнял ее за талию.

— Я не могу больше жить без тебя, моя красавица... Поверь же мне на этот раз, поверь — это

не фраза, не фантазия! В душе чувствую, что моя жизнь связана с твоею. Если ты уйдешь, я зачахну, я погибну!

— Да ведь этого не случится, дурачок! Ведь я люблю тебя... глупый!

— Но ты соглашаешься быть моей лишь на каких-то условиях, в то время как я весь твой, весь и безусловно!

— Это нехорошо, Северин! — воскликнула она почти испуганно. — Разве вы еще не уяснили, какова я? Совсем не хотите понять меня? Я добра, пока со мной обращаются серьезно и благоразумно, но если мне отдаются слишком беззаветно, во мне пробуждается злое высокомерие...

— Пусть! Будь высокомерна, будь деспотична, — воскликнул я в экстазе, не помня себя, — только будь моей, совсем, навеки!

Я бросился к ее ногам и обнял ее колени.

— Это плохо кончится, друг мой! — серьезно сказала она, не пошевелившись.

— О, пусть этому никогда не будет конца, — возбужденно, страстно воскликнул я, — пусть только смерть нас разлучит! Если ты не можешь быть моей, совсем моей и на всю жизнь, *позволь мне быть твоим рабом*, служить тебе, все сносить от тебя, — только не отталкивай меня!

— Возьмите же себя в руки, — сказала она, склоняясь ко мне и целуя меня в лоб. — Я всей душой полюбила вас, но это неверный путь для тех, кто хочет покорить меня и удержать.

— Я сделаю все-все, — только бы не потерять вас! Потерять вас — этой мысли я не в силах перенести.

— Да встаньте же.

Я повиновался.

— Вы, право, странный человек. Значит, вы хотите обладать мной, чего бы это вам ни стоило?

— Да, чего бы это мне ни стоило!

— Но какую же цену будет иметь для вас обладание мной? Если бы, положим... — Она на секунду задумалась, и в глазах ее мелькнуло что-то недоброе, жуткое. — Если бы я разлюбила вас, если бы я принадлежала другому?

Все тело мое пронизала дрожь. Я поднял глаза на нее — она стояла предо мной сильная, самоуверенная, и глаза ее светились холодным блеском.

— Вот видите, — продолжала она, — вы пугаетесь одной мысли об этом!

И лицо ее вдруг озарилось приветливой улыбкой.

— Да, меня охватывает ужас, когда я представляю себе, что женщина, которую я люблю, которая отвечала мне взаимной любовью, может без всякой жалости ко мне отдаться другому. Но ведь у меня нет выбора! Что же делать, если я эту женщину люблю, безумно люблю! Гордо отвернуться от нее — и в горделивом сознании своей силы погибнуть, пустить себе пулю в лоб?

Я ношу в душе два идеала женщины. Если мне не суждено найти свой, благородный, яс-

ный, как солнце, идеал — верную и добрую жену, готовую делить со мной все, что определено судьбою, — я не хочу ничего половинчатого и бесцветного, я предпочитаю отдаться женщине, лишенной добродетели, верности, жалости. Такая женщина, в ее эгоистическом величии, — мой второй идеал. Если уж мне не дано изведать счастье любви, во всей его полноте, я хочу испытать до дна причиняемые ею страдания, муки; хочу, чтобы женщина, которую я люблю, меня оскорбляла, изменяла мне... и чем более жестоко, тем лучше. И это — наслаждение!

— В своем ли вы уме! — воскликнула Ванда.

— Я так люблю вас — всей душой, всем существом своим! — что я могу жить — если мне суждено жить далее — только вблизи вас, дыша одним воздухом с вами. Выбирайте же какой вам угодно из двух моих идеалов. Делайте из меня, что хотите, — своего мужа или своего раба.

— Хорошо же! — сказала Ванда, нахмуривая свои тонкие, но четко очерченные брови. — Иметь человека, который меня интересуется, который меня любит, всецело в своей власти, — полагаю, это должно быть занятно; по крайней мере, в развлечениях у меня недостатка не будет. Вы были так неосторожны, что предоставили выбор мне. Так вот, я выбираю: хочу, чтобы вы были моим рабом, я сделаю из вас игрушку для себя!

— О, сделайте! — воскликнул я со смешанным чувством ужаса и восторга. — Брак может быть основан только на полном равенстве и со-

гласии, зато противоположности порождают самые сильные страсти. Мы с вами — противоположности, настроенные почти враждебно друг другу. Отсюда столь сильная любовь моя к вам, частично смешанная с ненавистью, частично — со страхом.

Но при таких отношениях одна из сторон должна быть молотом, другая наковальней. Я хочу быть наковальней. Я не могу быть счастливым, взирая на ту, которую люблю, сверху вниз. Я хочу любить женщину, которую смогу боготворить, — а это допустимо только при условии, что она будет жестока ко мне.

— Как можно, Северин! — воскликнула Ванда почти гневно. — Разве вы считаете меня способной поступать дурно с человеком, который любит меня так, как любите вы, — которого я сама люблю?

— Почему ж нет, если я оттого буду лишь сильнее боготворить вас? По-настоящему любить можно только то, что стоит выше: женщину, которая подчиняет тебя властью красоты, темперамента, ума, силы воли, — словом, ту, что станет твоим деспотом.

— Вас, значит, привлекает то, что прочих отталкивает?

— Да, это так. В этом я не похож на других.

— Что ж, в конце концов, во всех наших страстях нет ничего исключительного и странного: кому же, в самом деле, не нравятся красивые меха? И кто же не знает и не чувствует, как близки друг другу сладострастие и жестокость?

— Но во мне все это развито в высшей степени.

— Это доказывает, что над вами разум имеет мало власти и что у вас мягкая, податливая, чувственная натура.

— Разве и мученики были натуры мягкие и чувственные?

— Мученики?

— Наоборот, это были натуры *сверхчувственные* — метафизики, находившие наслаждение в страдании, искавшие самых страшных мучений, даже смерти, — так, как другие ищут радости. К таким сверхчувственным натурам принадлежу и я, сударыня.

— Берегитесь же! Как бы вам не сделаться при этом и мучеником любви, *мучеником женщины...*

* * *

Мы сидим на маленьком балконе Ванды прохладной, душистой летней ночью, и над нами простирается двойная кровля. Прямо над головой — зеленый потолок из вьющихся растений, а в вышине — усеянный бесчисленными звездами небосвод. Из парка доносится тихое, жалобное, влюбленно-призывное мяуканье кошки, я же сижу на скамейке у ног моей богини и рассказываю ей о своем детстве.

— И у вас тогда уже обнаружили эти странности? — спросила Ванда.

— О да. Я не помню времени, когда у меня их не было. Еще в колыбели, как мне рассказы-

вала впоследствии матушка, во мне проявлялась некая «надчувственность»: я не выносил здоровую грудь кормилицы, и меня пришлось вскармливать козьим молоком. Маленьким мальчиком я обнаруживал загадочную робость перед женщинами, за которой, в сущности, крылось ненормальное влечение к ним.

Серые своды и полутьма церкви тревожили меня, а вид блестящих алтарей и святых образов внушали мне настоящий страх. Зато я тайком, как к запретной радости, прокрадывался к гипсовой статуе Венеры, стоявшей в небольшой библиотечной комнате моего отца, становился на колени и возносил к богине молитвы, которым меня научили: «Отче наш», «Богородицу» и «Верую».

Однажды ночью я поднялся с постели, чтобы отправиться к статуе. Луна освещала богиню холодным бледно-голубым светом. Я расprostерся перед ней и целовал ее холодные ноги, как, мне случалось видеть, наши крестьяне целовали стопы мертвого Спасителя.

Непреодолимая страсть вспыхнула во мне.

Я поднялся повыше, обнял прекрасное холодное тело и поцеловал ледяные губы. Мною вдруг овладел невыразимый ужас, и я убежал. Всю ночь мне снилось, что богиня стоит рядом с моей постелью, грозя мне поднятой рукой.

Меня рано начали учить; поступив в гимназию, я со страстью усваивал все, что мог мне преподать античный мир. Очень скоро я освоился с богами Греции лучше, чем с религией

Христа; вместе с Парисом я отдавал Венере роковое яблоко, видел горящую Троию и следовал за Одиссеем в его странствиях. Прекрасные образы античности глубоко запечатлелись в моей душе, оттого в том возрасте, когда все мальчики бывают грубы и грязны, я питал непреодолимое отвращение ко всему низменному, пошлону, некрасивому.

Но всего более низменными и некрасивыми казались мне, подрастающему юнцу, любовные отношения с женщиной — такие, какими они мне представились на первых порах, в самом простейшем своем проявлении. Я избегал всякого соприкосновения с прекрасным полом — словом, я был «надчувствен» до сумасшествия.

К матушке поступила — мне тогда было лет четырнадцать — новая горничная, прелестное существо, молодая, хорошенькая и роскошно сложенная. Однажды утром, когда я сидел за своим Тацитом, воодушевляясь добродетелями древних германцев, малютка подметала мою комнату. Вдруг она остановилась, нагнулась ко мне, не выпуская щетки из рук, и пара полных, свежих, восхитительных губ прижались к моим. Поцелуй влюбленной кошечки обжег меня всего, но я поднял свою «Германию», как щит против соблазнительницы, и, возмущенный, вышел из комнаты.

Ванда громко расхохоталась.

— Вы и впрямь всегда ищете себе ровню!
Продолжайте, продолжайте!

— Никогда я не забуду еще один эпизод из тех же времен, — заговорил я снова.

К моим родителям часто приходила в гости графиня Соболев, доведившаяся мне троюродной, что ли, теткой, женщина величавая, красивая и с пленительной улыбкой. Я, однако же, ненавидел ее, поскольку она имела в семье репутацию Мессалины, и держался с ней до крайности неуклюже, невежливо и грубо.

Однажды мои родители ненадолго уехали из города. Тетка решила воспользоваться их отсутствием, чтобы преподать мне урок. В своей подбитой мехом кацавейке она неожиданно явилась в мою комнату в сопровождении кухарки, судомойки и той кошечки, которой я пренебрег.

Без всяких околичностей они меня схватили и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, связали по рукам и ногам; затем тетка со злобной улыбкой засучила рукава и принялась хлестать меня толстой розгой — так усердно, что кровь брызнула, и я в конце концов, несмотря на весь свой геройский дух, закричал, заплакал и запросил пощады.

Тогда она велела развязать меня, после чего заставила меня на коленях поблагодарить за наказание и поцеловать ее руку.

Представьте себе, однако, этого надчувственного глупца! Под розгой этой роскошной красавицы, показавшейся мне в ее меховой душегрейке разгневанной царицей, во мне впервые проснулось мужское чувство к женщине, и тетка начала казаться мне с той поры обворожительнейшей женщиной во всем божьем свете.

По-видимому, вся моя катоновская суровость и вся робость перед женщинами были не чем иным, как утонченнейшим чувством красоты. С этой поры в моем воображении возник своего рода культ чувственности, и я поклялся в душе не расточать ее священных переживаний на обыкновенные существа, но сохранить их для идеальной женщины — если возможно, для самой богини любви.

Я был еще очень молод, когда поступил в университет и поселился в столице, где жила тогда моя тетка. Студенческая комната моя была в то время похожа на кабинет доктора Фауста. В ней царил тот же беспорядок, она была загромождена высокими шкафами, битком набитыми книгами, которые я накупил по смехотворно дешевым ценам у еврея-антиквария в Лемберге, глобусами, атласами, картами неба, скелетами животных, масками и бюстами великих людей. Словом, всякую минуту из-за небольшой зеленой печки мог явиться Мефистофель в образе странствующего схоласта.

Изучал я что попало — без разбора, без всякой системы: химию, алхимию, историю, астрономию, философию, юридические науки, анатомию, литературу; читал Гомера, Вергилия, Оссиана, Шиллера, Гёте, Шекспира, Сервантеса, Вольтера, Мольера; и Коран, и Космос, и мемуары Казановы, и с каждым днем возрастала сумятица в моей душе, и все фантастичнее и «надчувственнее» становились мои чувства.

При этом в голове моей неизменно жил идеальный образ прекрасной женщины, временами возникавший предо мною словно видение, посреди кожаных книжных переплетов и масок, на ложе из роз, окруженном крохотными амурами, — то в олимпийском туалете со строгим белым лицом моей гипсовой Венеры, то с пышной массой каштановых волос, со смеющимися голубыми глазами и в красной бархатной, отделанной горностаем кацавейке — в образе моей красивой тетки.

Однажды утром, когда из золотого тумана моей фантазии вновь явилось это чарующее видение, я отправился к графине Соболев. Она приняла меня очень любезно, одарив поцелуем, от которого я потерял голову.

В это время ей должно было быть уже лет под сорок, но, подобно большинству неувядающих прожигательниц жизни, она была все еще соблазнительна и по-прежнему носила отороченную мехом кацавейку, только теперь она была из зеленого бархата, с темно-бурой кунницей. Но от прежней строгости, которая некогда так восхищала меня, не осталось и следа.

Наоборот, она была так снисходительна ко мне, что без долгих колебаний разрешила сделаться ее поклонником.

Она очень скоро поняла всю мою надчувственную глупость и невинность, и ей было приятно делать меня счастливым, видеть меня счастливым. А я действительно был счастлив, как юный бог!

Каким высоким наслаждением было для меня, стоя перед ней на коленях, целовать ее руки, те самые руки, которыми она некогда наказывала меня! О, что это были за дивные руки! Прекрасной формы, нежные, полные, белые и с восхитительными ямочками! В сущности, я был влюблен только в эти руки. Я затевал с ними нескончаемые игры, погружал их в темный мех, и высвобождал, и снова погружал, держал их перед огнем — наглядеться на них досыта не мог!

Ванда невольно взглянула на свои руки, я это заметил и не мог не улыбнуться.

— Что элемент надчувственности всегда преобладал в моей душе, вы можете видеть из того, что, будучи влюблен в свою тетку, я был влюблен, в сущности, в жестокое наказание розгами, которому она подвергла меня, а во время увлечения одной молодой актрисой, за которой я ухаживал года два спустя, — был влюблен только в ее роли. Позже я увлекся еще одной очень уважаемой дамой, разыгрывавшей неприступную добродетель и в заключение изменившей мне с одним богатым евреем.

Вот оттого-то я и ненавижу эту разновидность поэтических, сентиментальных добродетелей, что меня обманула, предала женщина, лицемерно рисовавшаяся самыми строгими принципами, самыми идеальными чувствованиями. Покажите мне женщину, достаточно искреннюю и честную, чтобы сказать: «Я — Помпадур, я — Лукреция Борджиа», — и я буду молиться на нее!

Ванда встала и открыла окно.

— У вас оригинальная манера — разгорячать фантазию, взвинчивать нервы, ускорять биение пульса. Вы окружаете порок ореолом, если только вы искренни. Ваш идеал — смелая, гениальная куртизанка. О, вы из тех мужчин, которые способны бесповоротно погубить женщину!

* * *

Среди ночи кто-то постучал ко мне в окно; я встал, открыл его и испуганно отшатнулся. За окном стояла Венера в мехах — точь-в-точь такая, какой она явилась ко мне в первый раз.

— Вы взволновали меня вашими рассказами — я ворочалась с боку на бок в постели, не могу уснуть. Приходите-ка, поболтаем.

— Сию минуту.

Когда я вошел, Ванда сидела на корточках перед камином, пытаюсь растопить его.

— Осень уже чувствуется, — заговорила она, — ночи весьма холодны. Боюсь, вам будет неприятно, но я не могу сбросить своего мехового плаща, пока в комнате не станет тепло.

— Неприятно... плутовка! Вы ведь знаете... — Я обнял ее и поцеловал.

— Знаю, положим, — но мне не ясно, откуда у вас это пристрастие к мехам.

— Это врожденное, оно обнаружилось еще в детстве. Впрочем, на людей нервных меха вообще действуют возбуждающе, и это вполне естественно объясняется. В них есть какое-то физическое обаяние, которому никто не в си-

лах противиться, — какое-то острое, странное очарование. Наука доказала существование известного родства между электричеством и теплотой, а родственное действие их на человеческий организм и вовсе бесспорно. Жаркие пояса порождают более страстную породу людей, теплая атмосфера вызывает возбуждение. Точно такое же влияние оказывает электричество.

Этим объясняется магическое воздействие *кошек* на очень впечатлительных людей, в частности — то обстоятельство, что эти грациозные зверьки, эти живые электрические батареи, искрящиеся и изящные, были любимцами таких людей, как Магомет, кардинал Ришелье, Кребийон, Руссо, Виланд.

— Итак, женщина, которая носит меха, не что иное, как большая кошка, электрическая батарея большой силы? — воскликнула Ванда.

— Именно. Этим объясняется и то символическое значение, которое меха приобрели как атрибут могущества и красоты.

Потому-то монархи и могущественная знать и присваивали себе исключительное право их ношения, а великие художники пользовались ими при изображении королей и красавиц: и Рафаэль для божественных форм Форнарины, и Тициан для розового тела своей возлюбленной не нашли более драгоценной декорации, чем темные меха.

— Благодарю вас за этот учено-эротический трактат, но вы не все мне сказали; вы связываете с мехом еще что-то, более личное.

— Вы правы. Я уже неоднократно говорил вам, что для меня в страдании заключается особенная, своеобразная прелесть: ничто так не в силах взвинтить мою страсть, как тирания, жестокость и — прежде всего — неверность прекрасной женщины. А такую женщину, этот странный идеал эстетики безобразного — с душой Нерона в теле Фрины, я не могу представить себе без мехов.

— Я понимаю, — проговорила Ванда, — они придают женщине что-то властное, величественное.

— Не одно это, — продолжал я. — Вы знаете, что я — «надчувствен», что у меня в основном все проистекает из фантазии и питается ею. Я развился очень рано и с ранних лет обнаруживал повышенную впечатлительность. В десятилетнем возрасте мне в руки попали жития мучеников. Я помню то чувство ужаса и одновременно восторга, которое я испытал, читая, как они изнывали в темницах, как их клали на раскаленные колосники, простреливали стрелами, кидали в кипящую смолу, бросали на съедение диким зверям, распинали на кресте, — и они выносили все эти муки как будто с радостью.

С тех пор страдания, жестокие мучения начали представляться мне наслаждением, тем более высоким, если эти мучения причинялись прекрасной женщиной, потому что женщина была для меня с самого раннего возраста средоточием всего поэтического, равно как и всего демонического.

Женщина стала для меня идолом.

Я видел в чувственности нечто священное — точнее даже, единственно священное; в женщине и ее красоте — нечто божественное, так как главное назначение ее составляет важнейшую задачу жизни: продолжение рода. Женщина олицетворяла для меня природу, *Изиду*, мужчина же — ее жреца, ее раба. Я исповедовал, что женщина должна быть по отношению к мужчине жестока, как и природа, которая отталкивает от себя за ненадобностью то, что уже послужило для ее потребностей, и что ему, мужчине, все жестокости, даже самая смерть, от руки женщины должны казаться высоким счастьем сладострастия.

Я завидовал королю Гунтеру, которого властная Брунгильда связала в брачную ночь; бедному трубадуру, которого его своенравная повелительница велела зашить в волчью шкуру, чтобы потом затравить, как дикого зверя. Я завидовал рыцарю Этираду, которого смелая амазонка Шарка хитростью поймала в лесу близ Праги, затащила в замок и, позабавившись с ним некоторое время, велела его колесовать...

— Отвратительно, ужасно! — воскликнула Ванда. — Желала бы я, чтобы вы попали в руки женщины этой дикой породы, — небось в волчьей шкуре, под зубами псов или на колесе для вас исчезла бы вся поэзия!

— Вы полагаете? Я так не думаю.

— Тогда вы в самом деле не вполне нормальны.

— Возможно. Выслушайте меня, однако, до конца. С тех пор я с настоящей жадностью набросился на книги, в которых описывались самые невероятные жестокости, и с особенным наслаждением рассматривал картины, гравюры, на которых они изображались: кровожадных тиранов, когда-либо восседавших на троне, инквизиторов, подвергавших еретиков пыткам, сожжению, казням разного рода, знаменитых женщин, отмеченных на страницах всемирной истории своим сладострастием, могуществом, красотой, вроде Либуше, Лукреции Борджиа, Агнессы Венгерской, королевы Марго, Изабеллы, султанши Роксоланы, русских императриц восемнадцатого столетия, — и всех их я видел в мехах или в горностаевых мантиях.

— И оттого меха пробуждают ваши давнишние странные фантазии, — сказала Ванда, кокетливо кутаясь в свой великолепный меховой плащ; темные блестящие шкурки соболей обворожительно мерцали, охватывая ее грудь и руки. — А как вы чувствуете себя сейчас? Как будто вас уже наполовину колесовали?

Ее глубокие зеленые глаза с каким-то насмешливым довольством остановились на мне, когда я, не в силах противиться охватившей меня страсти, упал перед ней на колени и обвил ее руками.

— Да... да... вы пробудили в моей душе мою заветную, долго дремавшую фантазию...

— И вы хотели бы?..

Она положила руку мне на затылок.

Под этой теплой маленькой рукой, под нежным взглядом ее глаз, испытующе смотревших из-под полуприкрытых век, меня охватил какой-то сладостный, пьянящий туман.

— *Быть рабом прекрасной женщины, женщины, которую я люблю, которую боготворю!*

— И которая за это жестоко обращается с вами! — перебила Ванда, засмеявшись.

— Да, которая меня связывает и подвергает побоям, топчет меня ногами, отдаваясь другому.

— И которая, когда вы сойдете с ума от ревности, зайдет в своей наглости столь далеко, что подарит вас счастливому сопернику, отдаст вас ему во власть, на произвол его грубости... Почему бы не закончить этим? Разве вам такая развязка не нравится?

Я с испугом взглянул на Ванду:

— Вы превосходите мои грезы.

— Да, мы, женщины, изобретательны. Берегитесь. Когда вы найдете свой идеал, легко может случиться, что с вами будут обращаться куда более жестоко, нежели вам того хотелось бы.

— Боюсь, я уже нашел свой идеал! — воскликнул я, прильнув пылающим лицом к ее коленям.

— Не во мне ли?! — воскликнула Ванда, сбросив меховой плащ и, смеясь, закружившись по комнате.

Она смеялась, пока я спускался по лестнице, и потом, остановившись в раздумье во дворе, я все еще слышал сверху этот веселый безудержный смех.

— Итак, вы хотите, чтобы я воплотила собой ваш идеал? — лукаво спросила Ванда, когда мы сегодня встретились в парке.

В первую минуту я не нашелся, что ответить. В душе моей боролись самые противоречивые чувства. Она тем временем опустилась на каменную скамью, вертя в руках цветов.

— Ну, что же... хотите?

Я стал на колени, взяв ее за руки.

— Еще раз прошу вас, будьте моей женой, моей верной, искренней женой! Если же вы этого не можете — будьте моим идеалом... но уж тогда до конца — открыто, немилосердно!

— Вы знаете — я решила отдать вам через год свою руку, если убедите меня, что вы тот, кого я ищу, — ответила Ванда очень серьезно. — Полагаю, однако, что вы будете мне благодарны, если я осуществлю вашу фантазию. Так что же вы предпочитаете?

— Думаю, вашей натуре свойственно все, что рисуется моему воображению.

— Вы ошибаетесь.

— Я думаю также, что вам должно понравиться держать мужчину всецело в своих руках, мучить его...

— Нет, нет! — горячо воскликнула она. — Хотя, может быть... — Ванда задумалась. — Я перестала понимать себя самое, но в одном должна вам признаться. Вы развратили мою фантазию, взбудоражили кровь — мне начинает нравиться

все то, о чем вы говорили. Меня увлекает восторг, с которым вы говорите о Помпадур, о Екатерине II и о прочих женщинах, эгоистичных, легкомысленных и жестоких...

Все это запало мне в душу, побуждая уподобиться этим женщинам, которых, при всей их порочности, рабски боготворили при жизни и которые даже после смерти сохраняют свое магическое обаяние.

В конце концов вы сделаете из меня миниатюрного деспота, своего рода Помпадур для домашнего употребления...

— Так что же! — возбужденно воскликнул я. — Если эти свойства заложены в вашей душе, дайте волю своему влечению! Только не делайте ничего вполтину! Если вы не можете быть доброй, верной женой — будьте дьяволом!

Я был взволнован до крайности, до изнеможения. Близость прекрасной женщины лихорадила мне кровь, я сам не знал, что говорил, помню только, что целовал ей ступни, а потом поднял ее ногу и поставил на свой затылок.

Она, однако, быстро отдернула ее и поднялась в гневе.

— Если вы меня любите, Северин, — быстро заговорила она, и голос ее звучал резко и повелительно, — то никогда больше не говорите об этих вещах. Понимаете? Никогда! Кончится тем, что я и в самом деле стану... — Улыбнувшись, она вновь села.

— Я говорю совершенно серьезно! — воскликнул я в полузабытьи. — Я так боготворю

вас, что готов снести от вас все, лишь бы иметь право оставаться всю жизнь вблизи вас.

— Северин... еще раз предостерегаю вас...

— Напрасно. Делайте со мной что хотите, только не отталкивайте от себя!

— Северин, — тем же тоном произнесла Ванда, — я молода и легкомысленна. Вы серьезно рискуете, до такой степени отдаваясь в мою власть. В конце концов вы можете... вы можете в самом деле сделаться моей игрушкой. Кто поручится вам тогда, что я не злоупотреблю своей властью, воспользовавшись вашим безумием?

— Ваше благородное сердце.

— Власть портит, я могу стать заносчивой...

— Так будь заносчивой, — воскликнул я, — топчи меня ногами...

Ванда обвила рукой мою шею, заглянула в глаза и покачала головой:

— Боюсь, я этого не сумею, но я попытаюсь... ради тебя! Потому что я люблю тебя, Северин. Так люблю, как еще никогда никого не любила!

* * *

Сегодня она вдруг надела шляпу и шаль и предложила мне пойти с ней в магазин. Там она велела подать ей хлыст — из длинного ремня, на короткой ручке, такой, какие употребляются для собак.

— Думаю, эти вам подойдут, — сказал продавец.

— Нет, эти слишком малы, — ответила Ванда, взглянув на меня искоса. — Мне нужен большой...

— Вероятно, для бульдога? — догадался торговец.

— Да, — наподобие тех, какими в России наказывали непокорных рабов.

Она порылась и нашла наконец хлыст, при виде которого меня проняло жуткое чувство.

— Теперь прощайте, Северин, — сказала она при выходе из магазина, — мне еще нужно сделать кой-какие покупки, при которых вам не следует сопровождать меня.

Я простился и пошел прогуляться, а возвращаясь, увидел Ванду, которая выходила из лавки скорняка. Она сделала мне знак подойти.

— Подумайте еще раз, — заговорила она с довольным видом. — Я никогда не скрывала, что меня привлекает в вас прежде всего ваш серьезный, глубоко мыслящий ум. Понятно, что теперь меня возбуждает сама мысль о том, чтобы видеть такого человека у своих ног, столь беззаветно, столь восторженно отдавшегося мне... Но долго ли это будет продолжаться? Женщина может любить мужчину, но раба она унижает и в конце концов отшвыривает его от себя ногой.

— Так отшвырни меня ногой, когда я надоем тебе! Я хочу быть твоим рабом...

— Я чувствую, что во мне дремлют опасные склонности, — помолчав, заговорила Ванда, после того как мы прошли несколько шагов, — а ты их пробуждаешь, и притом себе во вред, пойми же наконец! Ты так увлекательно рисуешь жажду наслаждений — жестокость, высокомерную властность...

Что ты скажешь, если я поддамся искушению и на тебе первом испробую силу, — как тиран Дионисий, приказавший изжарить в новоизобретенном железном быке самого изобретателя, чтобы на нем первом убедиться, действительно ли крики и предсмертное хрипенье звучат как рев быка...

Что, если я окажусь женщиной-Дионисием?

— О, будь Дионисием! — воскликнул я. — Тогда осуществится моя греза. Доброй или злой — тебе я принадлежу весь, выбирай сама. Меня влечет рок, который я ношу в своей груди, — влечет властно, демонически...

* * *

«Любимый мой!

Я не хочу видеть тебя ни сегодня, ни завтра. Приходи только послезавтра вечером, и — *рабом моим*.

Твоя повелительница
Ванда».

Рабом моим было подчеркнуто.

Я получил записку рано утром, прочел ее, перечитал вновь, затем велел оседлать себе осла — самое подходящее верховое животное для ученого — и поехал в горы, чтобы заглушить там, среди величавой природы Карпат, мою страсть, мое томление...

* * *

И вот я вернулся — усталый, истомленный голодом и жаждой, но прежде всего — влюбленный.

Я быстро переодеваюсь и через несколько секунд стучусь в ее двери.

— Войдите!

Я вхожу. Она стоит посреди комнаты в белом атласном платье, струящемся, как потоки света, вдоль ее тела, и в кацавейке из пурпурного атласа с роскошной, великолепной горностаевой опушкой, с бриллиантовой диадемой на осыпанных пудрой, словно снегом, волосах, со скрещенными на груди руками, со сдвинутыми бровями.

— Ванда!

Я бросился к ней, хочу обхватить ее руками, поцеловать ее... Она отступает на шаг и окидывает меня взглядом с головы до ног.

— Раб!

— Повелительница моя!.. — Я опускаюсь на колени и целую подол ее платья.

— Вот так!

— О, как ты прекрасна!

— Я нравлюсь тебе? — Она подходит к зеркалу и оглядывает себя с горделивым удовольствием.

— Ты сводишь меня с ума!

Она презрительно выпятила нижнюю губу и насмешливо взглянула на меня из-за полуопущенных век.

— Подай мне хлыст.

Я оглянулся вокруг, намереваясь встать за ним.

— Нет! Оставайся на коленях! — воскликнула она, подошла к камину, взяла с карниза хлыст и хлестнула им по воздуху, глядя с улыб-

кой на меня, потом начала медленно засучивать рукава кацавейки.

— Дивная женщина! — воскликнул я.

— Молчи, раб!

Посмотрев на меня мрачным, даже диким взглядом, она вдруг ударила меня хлыстом... Но в ту же секунду склонилась ко мне с выражением сострадания на лице, нежно обвила мою голову рукой и спросила полусконфуженно, полуиспуганно:

— Я сделала тебе больно?

— Нет! Но если бы и сделала, — боль, которую ты мне причинишь, для меня наслаждение. Бей же, если это доставляет тебе удовольствие.

— Но мне это вовсе не доставляет удовольствия.

Меня вновь охватило странное опьянение.

— Бей меня! — молил я. — Бей меня, без всякой жалости!

Ванда взмахнула хлыстом и дважды ударила меня.

— Довольно тебе?

— Нет!

— Серьезно — нет?

— Бей меня, прошу тебя, — для меня это наслаждение.

— Да потому что ты отлично знаешь, что это несерьезно, что у меня не хватит духу сделать тебе больно. Мне противна вся эта грубая игра. Будь я действительно такой женщиной, которая способна хлестать своего раба, я была бы тебе отвратительна.

— Нет, Ванда, нет! Я люблю тебя больше, чем самого себя, я отдаюсь тебе весь, на жизнь и на смерть, — ты в самом деле можешь делать со мной все, что тебе вздумается, по первому безудержному капризу...

— Северин!

— Топчи меня ногами! — воскликнул я, распростершись пред ней ниц.

— Я ненавижу всякую комедию! — нетерпеливо воскликнула Ванда.

Наступила жуткая тишина.

— Северин, предостерегаю тебя еще раз, в последний раз... — прервала молчание Ванда.

— Если любишь меня, будь жестока со мной! — умоляюще проговорил я, подняв на нее глаза.

— Если люблю тебя? — протяжно повторила Ванда. — Ну хорошо же! — Она отступила на шаг и оглядела меня с мрачной усмешкой. — Так будь же моим рабом и почувствуй, что значит отдаться всецело в руки женщины!

И в тот же миг она наступила ногой на меня.

— Ну, раб, нравится ли тебе это?

Она взмахнула хлыстом.

— Встань!

Я хотел подняться на ноги.

— Не так! — приказала она. — На колени!

Я повиновался, и она начала хлестать меня.

Удары — частые, сильные — быстро сыпались мне на спину, на руки, каждый врезывался в мою плоть, которая ныла от жгучей боли,

но эта боль приводила меня в восторг, потому что ее причиняла она, та, которую я боготворил, за которую во всякую минуту готов был отдать жизнь.

Ванда остановилась.

— Я начинаю находить в этом удовольствие, — заговорила она. — На сегодня довольно, но мной овладевает дьявольское любопытство — посмотреть, насколько хватит твоих сил, жестокое желание — видеть, как ты трепещешь под ударами моего хлыста, как извиваешься... потом услышать твои стоны и жалобы... и мольбы о пощаде — и все хлестать, хлестать, пока ты не лишишься чувств. Ты разбудил во мне опасные наклонности. Ну а теперь вставай.

Я схватил ее руку, чтобы прижаться к ней губами.

— Что за дерзость!

Она оттолкнула меня ногой.

— Прочь с глаз моих, раб!

Как в лихорадке проспал я в смутных снах всю ночь. Едва светало, когда я проснулся.

Что случилось в действительности из того, что проносится в моем воспоминании? Что было и что я только видел во сне? Меня хлестали, это несомненно, — я еще чувствую боль от каждого удара, я могу сосчитать жгучие красные полосы на своем теле. И хлестала меня она! Да, теперь мне все ясно.

Моя фантазия стала действительностью. Что же я чувствую? Разочаровало ли меня воплощение моей грезы в реальность?

Нет! Я только немного устал, но ее жестокость по-прежнему восхищает меня. О, как я люблю ее, как боготворю! Ах, как бледны все эти слова для выражения того, что я к ней чувствую, того, как я предан ей всем своим существом! Какое это блаженство — быть ее рабом!

* * *

Она окликает меня с балкона. Я бегу наверх. Она, стоя на пороге, дружески протягивает мне руку.

— Мне стыдно! — проговорила она, склонившись головой ко мне на грудь, в то время как я обнял ее.

— Чего стыдно?

— Постарайтесь забыть безобразную вчерашнюю сцену. — Голос ее дрожит. — Я исполнила ваш безумный каприз. Теперь будемте благоразумны, будем любить друг друга, будем счастливы, а через год я стану вашей женой.

— Моей повелительницей! — воскликнул я. — А я — вашим рабом!

— Ни слова больше о рабстве, о жестокости, о хлысте... — перебила меня Ванда. — Из всего этого я согласна оставить вам одну только меховую кофточку, не больше. Пойдемте, поможете мне надеть ее.

* * *

Маленькие бронзовые часы с фигуркой Амура, только что выпустившего стрелу, пробили полночь.

Я встал, хотел уйти.

Ванда ничего не сказала, только обвила меня руками, увлекла назад на оттоманку и снова начала целовать меня... И так понятен, так убедителен был этот немой язык!

Но он говорил еще больше, чем я мог осмелиться понять, — такой страстной истомой дышало все существо Ванды, столько неги сладострастия было в полузакрытых, отуманенных глазах ее, в искрах огненного каскада волос под белой пудрой, в шелесте белого и красного атласа, сверкавшего переливами при каждом ее движении, в волнующихся складках горносталя, в который она куталась с небрежной грацией.

— Ванда, умоляю тебя... — бормотал я, заикаясь, — но ты рассердишься...

— Делай со мной что хочешь... — шептала она.

— Я хочу, чтобы ты топтала меня ногами... умоляю тебя... иначе я помешаюсь...

— Ведь я запретила тебе говорить об этом! — строго воскликнула Ванда. — Или ты неисправим?

— Ах, ты не знаешь, как безумно я люблю тебя!

Я опустился на колени и зарылся пылающим лицом в складки ее платья.

— Я полагаю, — задумчиво начала Ванда, — что все твоё безумие — одна только демоническая, неудовлетворенная чувственность. Это болезненное отклонение, присущее нашей натуре. Если бы ты был менее добродетелен, ты был бы совершенно нормален.

— Так сделай же меня нормальным... — про-
бормотал я.

Я перебирал руками ее волосы и перелива-
ющийся, искрящийся мех, который вздымался
и опускался у нее на груди, подобно освещен-
ной луною волне, дурманя мне голову.

И я целовал ее... Нет! — она меня целовала,
так страстно, так исступленно, словно хотела
испепелить меня своими поцелуями. Я был как
в бреду... Рассудок я давно потерял, теперь же
я совершенно задыхался. Я рванулся прочь.

— Что с тобой?

— Я страдаю невыразимо...

— Страдаешь? — Она расхохоталась.

— Ты смеешься! — простонал я. — О, если
бы ты могла понять...

Ванда вдруг притихла, взяла меня за голову,
повернула к себе и страстно, порывисто прижа-
ла к груди.

— Ванда... — в беспамятстве бормотал я.

— Я забыла — тебе ведь приятно страда-
ние! — воскликнула она и опять засмеялась. —
Но погоди, я вылечу тебя. Потерпи!

— Нет, я не стану более допытываться, хо-
чешь ли ты отдаться мне навеки или же только
на одно блаженное мгновение! Я хочу взять
свое счастье... Теперь ты моя, и лучше уж я
когда-нибудь потеряю тебя, чем вовсе не буду
иметь счастья обладать тобой.

— Вот так, теперь ты благоразумен...

И она вновь припала ко мне своими гу-
бами...

Не в силах более владеть собой, я рванул горноста́й и все кружевные покровы, прижав к себе ее обнаженную, порывисто дышавшую грудь...

Я потерял сознание, обезумел...

Я пришел в себя только тогда, когда увидел, что с руки моей капает кровь, и апатично спросил:

— Ты меня поцарапала?

— Нет, кажется, я укусила тебя.

* * *

Замечательно, как все переживания и взаимоотношения видоизменяются, стоит только появиться новому лицу.

Мы проводили с Вандой упоительные дни — бродили по горам, у озер, вместе читали, и я заканчивал ее портрет. А как мы любили друг друга! Каким счастьем светилось ее очаровательное лицо!

И вдруг приезжает ее подруга, какая-то разведенная жена, женщина, немного старше, немного опытнее Ванды, немного менее честная, — и вот уже во всем сказывается ее влияние.

Ванда хмурится, часто бывает со мной несколько нетерпелива.

Неужели она уже не любит меня?!

* * *

Почти две недели уже длится это нестерпимое положение.

Подруга живет у нее, мы никогда не бываем одни. Вокруг обеих молодых женщин увивает-

ся толпа знакомых мужчин. Среди всего этого я — со своей любовью, со своей серьезностью и тоской — играю какую-то нелепую и смешную роль.

Ванда обращается со мной как с чужим.

Сегодня во время прогулки она отстала от прочей компании, оставшись со мной наедине. Я видел, что она это сделала умышленно, и ликовал. Но что она мне сказала!

— Моя подруга не понимает, как я могу любить вас. Она не находит вас ни красивым, ни особенно привлекательным. Вдобавок она с утра до ночи занимает меня рассказами о веселой, блестящей жизни в столице, твердя о том, какой успех я могла бы иметь, какую блестящую партию могла бы сделать, каких красивых и знатных поклонников могла бы приобрести. Но что мне до всего этого, если я люблю вас!

На мгновение у меня дыхание перехватило, потом я сказал:

— Я не хочу становиться у вас на дороге, клянусь вам, Ванда. Забудьте обо мне совсем.

Сказав это, я приподнял шляпу и пропустил ее вперед. Она изумленно посмотрела на меня, однако не произнесла ни звука.

Тем не менее когда я на обратном пути вновь случайно встретился с ней, она украдкой пожала мне руку, взглянув так тепло, так многообещающе, что я тут же забыл все муки последних дней и все мои раны вмиг зажили.

Лишь теперь я понял вполне, насколько люблю ее.

— Моя подруга жаловалась на тебя, — сказала мне Ванда сегодня.

— Видимо, она чувствует, что я ее презираю.

— Да за что ты ее презираешь, глупенький?! — воскликнула Ванда, взяв меня за уши.

— За то, что она лицемерка. Я уважаю только добродетельных женщин или таких, которые не скрывают, что живут для наслаждения.

— Как я! — шутливо заметила Ванда. — Но видишь ли, дитя мое, для женщины это возможно только в самых редких случаях. Она не может быть, в отличие от мужчины, ни столь безудержно чувственной, ни столь свободной духовно: ее любовь представляет собой некое смешение чувственности и духовной привязанности. Ее сердце ощущает потребность прочно привязать к себе мужчину, между тем как сама она склонна к переменам.

Все это порождает разлад, по большей части против воли самой женщины, ложь и обман как в ее поступках, так и во всем ее существе, — и все это портит ее характер.

— Да, это так, — заметил я. — Желая навязать любви трансцендентный характер, женщина с неизбежностью приходит к обману.

— Но свет и требует этого! — перебила меня Ванда. — Посмотри на мою подругу: у нее в Лемберге муж и любовник, здесь она приобрела нового поклонника — и обманывает их всех, а в свете она всеми уважаема.

— Да пусть ее! Только бы она тебя оставила в покое.

— За что же так презирать ее? — с живостью продолжала Ванда. — Каждая женщина инстинктивно стремится извлекать пользу из своих чар. В том же, чтоб отдаваться без любви, без наслаждения, есть известная выгода: сохраняешь хладнокровие и можешь воспользоваться своим преимуществом.

— Ты ли это говоришь, Ванда?

— Отчего ж нет? Послушай, вот что я тебе скажу: *никогда не будь совершенно уверен в женщине, которую любишь*, потому что природа женщины таит в себе больше опасностей, чем ты думаешь. Женщины не так хороши, как представляют их почитатели и защитники, и не так дурны, как изображают их враги. Характерная особенность женщины в том, что она бесхарактерна. Лучшая из них рискует иногда пасть в самую грязь, в то время как худшая может возвыситься до высоких, добрых поступков, пристыдив тех, кто относился к ней презрительно.

Женщина не может быть ни хорошей, ни дурной; в одно и то же время она способна как на самые грязные, так и на самые чистые, как на дьявольские, так и на божественные мысли, чувства и поступки.

Дело в том, что, несмотря на все успехи цивилизации, женщина осталась такой, какой вышла из рук природы: она сохранила характер дикаря, который может оказаться способным на верность и на измену, на великодушие и на

жестокость — смотря по владеющему им в данную минуту чувству. Во все эпохи нравственный характер складывался только под влиянием серьезного, глубокого образования. Мужчина всегда следует принципам — даже если он эгоистичен, своекорыстен и зол; женщина же повинуется только побуждениям.

Не забывай этого и никогда не будь уверен в женщине, которую любишь.

* * *

Подруга уехала. Наконец вечер наш, мы одни. Словно всю любовь, которой она все время меня лишала, Ванда приберегла для этого блаженного вечера — так она ласкова, сердечна, нежна.

Какое счастье — прильнуть устами к ее устам, замереть в ее объятиях и видеть ее потом, когда она, вся изнемогшая, вся отдавшись мне, покоится на груди моей, а глаза наши, затуманенные страстью, тонут друг в друге.

Не могу осознать, не могу поверить, что эта женщина — моя, вся моя...

— В одном она все же права, — заговорила Ванда, не пошевелившись, даже не открывая глаз — точно во сне.

— Кто?

Она промолчала.

— Твоя подруга?

Она кивнула головой:

— Да, в этом она права... Ты не мужчина, ты мечтатель, ты — увлекательный поклонник

и был бы, наверное, бесценным рабом, — но как мужа я не могу тебя представить.

Я испугался.

— Что с тобой? Ты дрожишь?

— Я трепещу при мысли, как легко могу лишиться тебя, — ответил я.

— Разве ты от этого менее счастлив теперь? Умаляет ли твою радость то, что до тебя я принадлежала другим, что после тебя мною будут обладать другие? И уменьшится ли твое наслаждение, если одновременно с тобой будет наслаждаться счастьем другой?

— Ванда!

— Видишь ли, это был бы выход. Ты не хочешь потерять меня, мне ты дорог и духовно так близок и необходим, что я хотела бы всю жизнь прожить с тобой, если бы кроме тебя...

— Что за мысль! — воскликнул я. — Ты внушаешь мне ужас...

— И ты оттого менее любишь меня?

— Напротив!

Ванда приподнялась, опершись на левую руку.

— Я думаю, — сказала она, — что для того, чтобы навеки привязать к себе мужчину, надо прежде всего не быть ему верной. Какую честную женщину боготворили когда-либо так, как боготворят гетеру?

— В неверности любимой женщины действительно таится некая мучительная прелесть, высокое сладострастие.

— И для тебя? — быстро спросила Ванда.

— И для меня.

— Значит, если я доставлю тебе это удовольствие... — насмешливо протянула Ванда.

— Я буду страдать чудовищно, но тем более буду боготворить тебя... Только не обманывай меня! У тебя должно хватить демонической силы сказать мне: «Любить я буду одного тебя, но счастье буду дарить всякому, кто мне понравится».

Ванда покачала головой:

— Мне противен обман, я правдива, но какой мужчина не согнется под бременем правды? Если бы я сказала тебе: «Эта чувственно-веселая жизнь, это язычество — мой идеал», — хватило бы сил у тебя вынести это?

— О да. Я все снесу от тебя, только бы ты меня не покинула. Я ведь чувствую, как мало я, в сущности, для тебя значу.

— Что ты!..

— Это правда, — сказал я. — И вот потому-то...

— Потому ты хотел бы... — Она лукаво улыбнулась. — Ведь я отгадала?

— Быть твоим рабом! — воскликнул я. — Твоей собственностью, лишенной своей воли, собственностью, которой ты могла бы распоряжаться по своему усмотрению и которая поэтому никогда не стала бы тебе в тягость. Я хотел бы — пока ты будешь пить полной чашей радость жизни, упиваться веселым счастьем, наслаждаться всею роскошью олимпийской любви — служить тебе, обувать и разувать тебя.

— В сущности, ты не так уж неправ, — ответила Ванда, — потому что только будучи мо-

им рабом ты мог бы вынести то, что я люблю других; кроме того, античная свобода наслаждений и немислима без рабства. Видеть перед собой трепещущих, пресмыкающихся на коленях людей — о, это, должно быть, заставляет почувствовать себя подобным богам... Я хочу иметь рабов. Слышишь, Северин?

— Разве я не раб твой?

— Послушай же, — взволнованно сказала Ванда, схватив мою руку, — я буду твоей до тех пор, пока люблю тебя.

— В течение месяца?

— Быть может, двух.

— А потом?

— Потом ты будешь моим рабом.

— А ты?

— Я? Зачем ты спрашиваешь? Я — богиня и буду иногда спускаться — тихо, совсем тихо и тайком — со своего Олимпа к тебе.

— Но что значат все эти слова! — заговорила она вновь после паузы, уронив голову на руки и устремив взгляд вдаль. — Золотая мечта, фантазия, которая никогда не станет реальностью.

Все существо ее дышало тяжелой, жуткой тоской. Такой я еще никогда ее не видал.

— Отчего же она неосуществима?

— Оттого, что у нас нет рабства.

— Так поедem туда, где оно еще существует, — на Восток, в Турцию! — с живостью воскликнул я.

— Ты согласился бы? Северин, ты серьезно? — спросила Ванда. Глаза ее загорелись.

— Да, я на самом деле хочу быть твоим рабом. Я хочу, чтобы твоя власть надо мной была освящена законом, чтобы моя жизнь была в твоих руках, чтобы ничто в мире не могло меня защитить, спасти от тебя. О, какое огромное наслаждение было бы чувствовать, что я всецело зависим от твоего произвола, от твоего каприза, от одного мановения твоей руки!

И вот тогда какое это будет безмерное блаженство, когда в милостивую минуту ты позволишь своему рабу поцеловать твои уста, от которых зависят его жизнь и смерть!

Я стал на колени и прильнул горячим лбом к ее ногам.

— Ты бредишь, Северин! — взволнованно проговорила Ванда. — Ты в самом деле столь безгранично любишь меня?

Она прижала мою голову к своей груди и осыпала меня поцелуями.

— Так ты в самом деле хочешь? — нерешительно спросила она снова.

— Клянусь Богом и честью моей — я твой раб где и когда ты захочешь, только прикажи! — воскликнул я, едва владея собой.

— А если я поймаю тебя на слове?

— Я согласен.

— Это имеет для меня ни с чем не сравнимую прелесть... Знать, что человек, который меня боготворит, которого я всей душой люблю, отдался мне настолько, что всецело зависит от моей воли, от моего каприза... обладать им как рабом, в то время как я...

Она бросила на меня странный взгляд.

— Ну, если я стану до крайности легкомысленной, в этом будешь виноват ты, — продолжала она. — Я почти уверена, что ты уже боишься меня, — но ты дал мне клятву....

— И сдержу ее.

— Об этом уж я позабочусь. Я начинаю находить в этом наслаждение, и клянусь тебе — теперь это не останется пустой фантазией. Ты будешь моим рабом, а я... я постараюсь сделаться Венерой в мехах...

* * *

Мне казалось, что я наконец понял эту женщину, что я знаю ее, но теперь вижу, что должен все начинать сначала. Как отвратительны еще недавно были ей мои фантазии, а теперь — как серьезно она стремится их осуществить.

Она составила проект договора, по которому я обязываюсь — моим честным словом и клятвой — быть ее рабом, покуда она этого пожелает.

Обняв меня рукой за шею, она читает мне этот неслыханный, невероятный документ, заключая прочтение каждого пункта поцелуем.

— Но как же так? Здесь оговорены лишь мои обязанности, — говорю я, чтобы подразнить ее.

— Разумеется! — отвечает она с величайшей серьезностью. — Отныне ты перестаешь быть моим возлюбленным — значит, я освобождаюсь от всех обязанностей, от всяких обетов. Мою

благосклонность ты должен воспринимать как милость, у тебя больше нет никаких прав, и ты более ни на что не должен претендовать. Моя власть над тобой должна быть безгранична.

Подумай, ведь отныне по своему положению ты немногим отличаешься от собаки, от неодушевленного предмета. Ты моя вещь, моя игрушка, которую я могу сломать, если это позволит мне хотя бы на минуту избавиться от скуки. Ты — ничто, а я — все. Понимаешь?

Она засмеялась и вновь поцеловала меня, однако я содрогнулся от ужаса.

— Не разрешишь ли ты и мне выставить некоторые условия? — начал я.

— Условия? — Она нахмурилась. — Ах, ты уже испугался или раскаиваешься!.. Но теперь поздно — ты дал честное слово, ты поклялся мне. Впрочем, говори.

— Прежде всего, я хотел бы внести в наш договор, что ты никогда меня не бросишь; затем — что ты никогда не отдашь меня во власть какого-нибудь своего поклонника, не допустишь его грубого произвола в отношении меня...

— Северин! — воскликнула с волнением Ванда, и глаза ее наполнились слезами. — Ты полагаешь, что я способна человека, который так меня любит, так отдается мне...

— Нет, нет! — сказал я, покрывая ее руки поцелуями. — Я не опасаюсь с твоей стороны ничего, что могло бы меня опозорить. Прости мне минутную дурную мысль!

Ванда радостно улыбнулась, прижалась своей щекой к моей и, казалось, задумалась.

— Ты забыл кое-что, — шепнула она затем лукаво, — и самое важное!

— Какое-нибудь условие?

— Да, что я обязываюсь всегда носить меха. Но я и так обещаю это тебе. Я буду носить их только потому, что они помогают мне чувствовать себя деспотом, а я хочу быть очень жестока с тобой. Понимаешь?

— Я должен подписать договор? — спросил я.

— Нет еще, прежде я прибавлю твои условия, и вообще ты подпишешь его в должном месте.

— В Константинополе?

— Нет. Я передумала. Чего стоит обладание рабом там, где у всех есть рабы! Я хочу иметь раба здесь, в нашем цивилизованном, трезвом буржуазном мире, где раб будет *только у меня*, и главное — такой раб, которого отдали в мою власть не закон, не мое право и грубая сила, а единственно могущество моей красоты и сила моей личности. Вот что меня прельщает.

Во всяком случае, мы уедем куда-нибудь — туда, где никто нас не знает и где тебе можно будет, не опасаясь мнения света, выступить в роли моего слуги. Поедем в Италию — может быть, в Рим или Неаполь.

Мы сидели у Ванды, на ее оттоманке. Она была в своей горностаевой кофточке, с распущенными по спине волосами, разметавшимися, как львиная грива. Она припала к моим губам,

высасывая мою душу из тела. У меня кружилась голова, сердце билось как безумное у ее сердца... кровь во мне закипала.

— Я хочу быть весь в твоей власти, Ванда! — воскликнул я вдруг в одном из тех порывов страсти, во время которых мой затуманенный ум не в силах был трезво мыслить, свободно соображать. — Весь, без всяких условий, без какого-либо ограничения твоей надо мной власти... хочу зависеть лишь от твоего произвола, твоей милости или немилости!

Говоря это, я скользнул с оттоманки к ее ногам и смотрел на нее снизу опьяненными страстью глазами.

— Как ты дивно хорош теперь! — воскликнула она. — Меня влекут, чаруют твои глаза, когда они смотрят вот так, в истоме, словно замороженные... какой дивный взгляд должен быть у тебя под смертельными ударами хлыста! У тебя глаза мученика!

* * *

Иногда мне все-таки становится немного жутковато — отдаться так всецело, так безусловно в руки женщины... Что, если она злоупотребит моей страстью, своей властью?

Ну что ж, тогда я испытаю то, что волновало мое воображение с раннего детства, неизменно наполняя мне душу сладостным ужасом. Глупое опасение. Это просто невинная веселая игра, в которую она будет играть со мной, не более. Она ведь любит меня, и она добра —

благородная натура, не способная ни к какой неверности.

Но все-таки это в ее власти: она *может*, если *захочет*. Какая прелесть в этом сомнении, в этом опасении!

* * *

Теперь я понимаю знаменитую Манон Леско и ее бедного рыцаря, молившегося на нее даже тогда, когда она была уже любовницей другого, даже у позорного столба.

Любовь не знает ни добродетели, ни заслуги. Она любит, и прощает, и терпит все потому, что иначе не может. Нами руководит не здравое рассуждение — не достоинства или недостатки, которые нам случится подметить, привлекают или отталкивают нас.

Нас влечет какая-то сладостная и грустная, таинственная сила, под ее влиянием мы перестаем мыслить, чувствовать, желать — мы позволяем ей толкать себя, не спрашивая даже куда.

* * *

Сегодня на гулянье среди курортных посетителей впервые появился некий русский князь, привлечший к себе всеобщее внимание; его атлетическая фигура, необычайно красивое лицо, роскошный туалет и великолепие его окружения произвели фурор.

Особенно глазели на него дамы — совсем как на дикого зверя. Но он прохаживался по

аллеям мрачный, никого не замечая, в сопровождении двух слуг — негра, одетого с головы до ног в красный атлас, и черкеса, во всем блеске его национального костюма и вооружения.

Вдруг он заметил Ванду, устремил на нее холодный пронизывающий взгляд; покуда она шла, князь не отрывал от нее глаз, поворачивая за ней голову; когда же она прошла мимо — остановился и долго смотрел ей вслед.

Она... она пожирала его своими искрящимися зелеными глазами и постаралась снова встретиться с ним.

В ее походке, в каждом ее движении, в том, как она на него смотрела, сквозило утонченное кокетство. От созерцания всего этого мне сдавило горло. Когда мы шли домой, я что-то заметил ей об этом. Нахмурившись, она ответила:

— Чего же ты хочешь? Князь из таких мужчин, которые нравятся мне. Он ослепил меня. Я же свободна и могу делать все, что захочу...

— Разве ты меня больше не любишь? — испуганно пробормотал я, заикаясь.

— Люблю я одного тебя, но князю позволю ухаживать за мной.

— Ванда!

— Разве ты не раб мой? — невозмутимо напомнила она. — Разве я не жестокая северная Венера в мехах?

Я ничего не ответил — слова Ванды буквально уничтожили меня, холодный взгляд ее кинжалом вонзился мне в сердце.

— Ты пойдешь сейчас же, узнаешь мне, как зовут князя, где он живет и все, что касается его, — продолжала она.

— Но, Ванда...

— Никаких отговорок. Я требую повиновения! — воскликнула она таким строгим тоном, которого я никак не ожидал от нее. — Не являйся мне на глаза, пока не будешь в состоянии ответить на все мои вопросы.

Только к вечеру я мог доставить Ванде сведения, которых она требовала. Она заставила меня стоять перед ней, как слугу, покуда с улыбкой, откинувшись на спинку кресла, слушала мой отчет.

Выслушав меня, она удовлетворенно кивнула головой.

— Дай мне скамеечку под ноги, — коротко приказала она.

Я повиновался и, поставив скамеечку, уложил на нее ноги моей повелительницы, оставшись перед ней на коленях.

— Чем это кончится? — печально спросил я после небольшой паузы.

Она разразилась веселым смехом.

— Да это еще и не начиналось!

— Ты бессердечнее, чем я думал, — сказал я, уязвленный.

— Северин! — серьезно проговорила Ванда. — Я еще ничего не сделала, ровно ничего, а ты уже называешь меня бессердечной. Что же будет, когда я исполню твои фантазии, когда я стану вести веселую, вольную жизнь, окружу

себя поклонниками и осуществлю целиком твой идеал — с попираем ногами и ударами хлыста?

— Ты слишком серьезно воспринимаешь мои фантазии.

— Слишком серьезно? Но коль скоро я их осуществляю, не могу же я ограничиваться шуткой! Ты знаешь, как ненавистна мне всякая игра, всякая комедия. Ведь ты сам этого хотел. Чья это затея — моя или твоя? Я ли тебя соблазнила ею, или ты разжег мое воображение? Разумеется, теперь это для меня серьезно.

— Выслушай меня спокойно, Ванда! — сказал я с нежностью. — Мы так любим друг друга, мы так бесконечно счастливы. Неужели ты захочешь принести наше будущее в жертву простому капризу?

— Теперь это уже не просто каприз! — воскликнула она.

— А что же?! — испуганно спросил я.

— Были, конечно, такие задатки во мне самой, — произнесла она спокойно и задумчиво, — быть может, без тебя они никогда не обнаружались бы; но ты их пробудил, развил. И вот теперь, когда это превратилось в могучее влечение, захватившее меня всецело, когда я вижу в этом наслаждение, когда я не хочу и не могу иначе, — теперь ты пятишься... Да мужчина ли ты?

— Ванда, дорогая моя Ванда! — воскликнул я, лаская, целуя ее.

— Оставь меня... Ты не мужчина!

— А кто же тогда ты? — вспыхнул я.

— Я упряма, ты это знаешь. Ты силен в мечтах, но слаб в деле; не такова я. Решившись на что-то, я это делаю — и тем энергичнее, чем большее встречаю сопротивление. Оставь меня!

Оттолкнув меня, она встала.

— Ванда! — воскликнул я, также поднявшись и стоя с нею лицом к лицу.

— Теперь ты знаешь, какая я. Предостерегаю тебя еще раз. Ты еще свободен изменить свое решение. Я не неволю тебя стать моим рабом.

— Ванда... — с глубоким волнением начал я, и слезы выступили у меня на глазах, — если бы ты знала, как я люблю тебя!

Она презрительно скривила губы.

— Ты ошибаешься, ты сама себя не понимаешь, ты не такая дурная, какой рисуешь себя... Натура у тебя слишком благородная...

— Что ты знаешь о моей натуре! — резко перебила она меня. — Ты еще увидишь, какова я...

— Ванда...

— Решайся же! Хочешь ты подчиниться всецело, безусловно?

— А если я скажу «нет»?

— Тогда...

Она подошла ко мне, холодная и насмешливая; и, стоя вот так передо мной — со скрещенными на груди руками, со злой улыбкой на губах, она действительно являла собой воплощение деспотической женщины из моих грез. Жестокое выражение появилось на ее ли-

це, в глазах не было ничего, что обещало бы доброту, сострадание.

— Хорошо... — проговорила она наконец.

— Ты сердишься... ты будешь бить меня хлыстом?

— О нет! — возразила она. — Я отпущу тебя. Можешь идти. Ты свободен. Я не удерживаю тебя.

— Ванда... ты гонишь меня? Меня, человека, который так тебя любит...

— Да, вас, сударь, — человека, который меня боготворит, — презрительно протянула она, — но который труслив, лжив, изменяет своему слову. Оставьте меня сию минуту...

— Ванда!

— Баба!

Вся кровь прихлынула к моему сердцу. Я бросился к ее ногам, не в силах сдержать рыданий.

— Только слез не хватало! — воскликнула она, засмеявшись. Что за ужасный это был смех! — Подите прочь, я больше не хочу вас видеть.

— Боже мой! — крикнул я, не помня себя. — Я сделаю все, что ты приказываешь, буду твоим рабом, твоей вещью, которой ты можешь распоряжаться по своему усмотрению, — только не отталкивай меня! Я погибну! Я не могу жить без тебя!

Обняв ее колени, я покрывал ее руки поцелуями.

— Да, ты должен быть рабом и чувствовать хлыст на себе, потому что ты не мужчина... —

спокойно проговорила она. Это-то мучительнее всего схватило меня за сердце — что она говорила без всякого гнева, даже без волнения, а в спокойном раздумье. — Теперь я узнала тебя, поняла твою собачью натуру, способную боготворить того, кто попирает тебя ногами, — тем более, чем сильнее тебя унижают. Теперь я поняла тебя, а ты еще меня узнаешь...

Широко шагая, она расхаживала по комнате, в то время как я замер, уничтоженный, на коленях, с поникшей головой, с мокрым от слез лицом.

— Поди сюда, — повелительно бросила мне Ванда, опускаясь на оттоманку. Повинуясь мановению ее руки, я сел рядом. Она мрачно смотрела на меня, потом вдруг взгляд ее прояснел, словно озарившись изнутри, улыбаясь, она привлекла меня к себе на грудь и начала поцелуями осушать мои мокрые от слез глаза.

* * *

В том-то и заключается трагикомизм моего положения, что я, как медведь под властью укротительницы, могу бежать — и не хочу... и все готов вынести, стоит ей только пригрозить отпустить меня на волю.

* * *

Если бы она наконец снова взяла в руки хлыст! Что-то зловещее чудится мне в ее нежном, ласковом обращении со мной. Я кажусь себе маленькой пойманной мышью, с которой

грациозно играет красавица кошка, каждую секунду готовая растерзать добычу... и мое мышинное сердце готово разорваться.

Какие у нее намерения? Что она со мной сделает?

* * *

Она как будто совершенно забыла о договоре, о моем рабстве... Что бы это значило? Может быть, все это было простым капризом и она забросила свою затею в ту самую минуту, когда увидела, что я не оказал никакого сопротивления и покорился ее самодержавной прихоти?

Как она добра ко мне теперь, какая она ласковая, любящая! Мы переживаем блаженные дни.

* * *

Сегодня она попросила меня прочесть вслух сцену между Фаустом и Мефистофелем, в которой Мефистофель является в образе странствующего схоласта. Глаза ее со странным выражением довольства покоились на мне.

— Не понимаю я этого, — сказала она, когда я кончил чтение, — как может человек носить в душе такие великие, прекрасные мысли, так изумительно ясно, разумно, глубоко анализировать их — и быть в то же время таким мечтателем, таким сверхчувственным простаком.

— Ты довольна... — сказал я, целуя ее руки. Она нежно провела рукой по моему лбу.

— Я люблю тебя, Северин, — прошептала она, — никого другого я не могла бы любить больше... Будем благоразумны... правда?

Вместо ответа я заключил ее в объятия. Чувство огромного, глубокого, скорбного счастья разрывало мне душу... Глаза мои увлажнились, слеза скатилась ей на руку.

— Как можно плакать! — воскликнула она. — Ты совсем дитя...

* * *

Катаясь сегодня, мы встретили русского князя, проезжавшего мимо в коляске. Он был явно поражен, увидав меня рядом с Вандой, и, казалось, хотел пронзить ее своими электрическими серыми глазами. Ванда же — в ту минуту я готов был броситься перед ней на колени и целовать ее ноги — как будто совсем не заметила его, равнодушно скользнула по нему взглядом, словно по неодушевленному предмету, словно по дереву, и тотчас же повернулась ко мне со своей обворожительной улыбкой.

* * *

Когда я уходил от нее сегодня, пожелав ей спокойной ночи, мне показалось, что она вдруг, безо всякого внешнего повода, стала рассеянной и расстроена. Что бы такое могло озаботить ее?

— Мне жаль, что ты уходишь... — сказала она, когда я стоял уже на пороге.

— В твоей власти сократить срок моего тяжкого испытания. Перестань мучить меня! — умоляюще сказал я.

— Ты, значит, не допускаешь, что это положение и для меня мука... — проронила она.

— Так положи ей конец! — воскликнул я, обнимая ее. — Будь моей женой!

— Ни-ког-да, Северин! — сказала она мягко, но с непоколебимой решительностью.

— Что ты сказала?!

Я был испуган, потрясен до глубины души.

— *Мужем моим ты быть не можешь...*

Я посмотрел на нее, медленно опустил руку, которой только что обнимал ее талию, и вышел из комнаты. И она... она не позвала, не вернула меня.

* * *

Долгая бессонная ночь. Десятки раз я принимал всевозможные решения и вновь отказывался от них.

Утром я написал письмо, в котором объявил, что считаю нашу связь расторгнутой. Рука моя дрожала, когда я писал; запечатывая письмо, я обжег себе пальцы.

Когда я поднимался по лестнице, чтобы отдать письмо горничной, у меня подкашивались ноги, я едва не упал.

Но открыла мне сама Ванда, высунув в дверь головку, на которой белели папильотки.

— Я еще не причесана, — с улыбкой сказала она. — Что вы хотели?

— Письмо...

— Мне?

Я кивнул головой.

— Ах, вы хотите порвать со мной? — насмешливо воскликнула она.

— Разве вы не заявили вчера, что я не го-
жусь быть вашим мужем?

— *Повторяю это и сейчас.*

— Ну вот, возьмите... — Я протянул ей пись-
мо, дрожа всем телом; голос не повиновался мне.

— Оставьте его у себя, — сказала она, хо-
лодно глядя на меня. — Вы забываете, что те-
перь речь вовсе не о том, можете ли вы удов-
летворить меня как *муж*, — а в *рабы* вы, во
всяком случае, годитесь.

— Сударыня! — с негодованием восклик-
нул я.

— Да, именно так вы должны называть меня
отныне, — сказала Ванда, откидывая голову с
невыразимым пренебрежением. — Извольте уст-
роить ваши дела в двадцать четыре часа, после-
завтра я еду в Италию, и вы поедете со мной,
в качестве моего слуги.

— Ванда!

— Я запрещаю вам фамильярничать со
мной, — резко оборвала она. — Запомните так-
же, что являться ко мне вы должны не иначе
как по моему зову или звонку и не смеее пер-
вым заговаривать со мной. Зовётесь вы отныне
не Северином, а *Григорием*.

Я задрожал от ярости и... в то же время, к
прискорбию своему, от наслаждения, от остро-
го возбуждения.

— Но... сударыня, вы ведь знаете мои обстоятельства, — смущенно заговорил я, — я ведь завишу еще от своего отца... Сомневаюсь, чтобы он дал мне такую большую сумму, какая нужна для этой поездки...

— Значит, у тебя нет денег, Григорий, — произнесла Ванда, очень довольная, — тем лучше! Тогда ты, значит, всецело зависишь от меня и в самом деле становишься моим рабом.

— Вы не приняли во внимание, — попытался я возразить, — что, как человек честный, я не могу...

— Я все приняла во внимание. Как человек честный, — голос ее звучал повелительно, — вы обязаны прежде всего сдержать свое слово, свою клятву, последовать за мной в качестве моего раба куда я прикажу и повиноваться мне во всем, что я ни прикажу. А теперь ступай, Григорий!

Я направился к двери.

— Постой... можешь предварительно поцеловать мою руку.

И она с горделивой небрежностью протянула мне руку для поцелуя, а я... я, дилетант, я, осел, я, жалкий раб, с порывистой нежностью припал к ней своими горячими, пересохшими от волнения губами.

Мне еще милостиво кивнули головой — и отпустили.

* * *

Поздно ночью у меня еще горел огонь и топилась большая зеленая печь, так как мне надо

было позаботиться о некоторых письмах и бумагах, а осень, как это бывает у нас обыкновенно, вдруг и сразу вступила в свои права.

Вдруг Ванда постучала ко мне в окно деревянной ручкой хлыста.

Я отпер окно и увидел ее в опушенной горностаем кофточке и высокой, круглой казацкой шапке из горностая, вроде тех, которые носила иногда Екатерина Великая.

— Готов ты, Григорий? — мрачно спросила она.

— Нет еще, моя повелительница, — ответил я.

— Это слово мне нравится, — отозвалась она, — можешь всегда называть меня своей повелительницей. Слышишь? Завтра утром, в девять часов, мы уезжаем отсюда. До железнодорожной станции ты будешь моим спутником, моим другом, а с той минуты, как мы сядем в вагон, — ты мой раб, мой слуга. А сейчас закрой окно и отопри дверь.

Я повиновался приказу; войдя в комнату, она спросила, насмешливо сдвинув брови:

— Ну-с, нравлюсь я тебе?

— Ты обв...

— Кто позволил тебе это? — воскликнула она, хлестнув меня хлыстом.

— Вы дивно прекрасны, моя повелительница.

Ванда улыбнулась и уселась в кресле.

— Стань здесь на колени — вот тут, около моего кресла.

Я повиновался.

— Целуй руку...

Я схватил ее маленькую, холодную ручку и поцеловал.

— И губы...

Волна страсти нахлынула на меня — я обвил руками тело жестокой красавицы и осыпал как безумный пламенными поцелуями ее лицо, губы и грудь. Она отвечала мне с той же жгучей страстью, закрыв глаза, словно во сне...

Далеко за полночь мы не могли оторваться друг от друга.

* * *

Ровно в 9 часов утра, как она приказала, все было готово к отъезду, и мы в удобной коляске выехали из маленького горного курорта в Карпатах, где завязывалась самая интересная драма моей жизни, запутавшись в сложный узел, и никто из нас не мог еще предсказать, как именно и когда он распутается.

Вначале все шло превосходно. Я сидел рядом с Вандой; она не умолкая мило болтала со мной, как с добрым другом, увлекательно, остроумно, рассуждая об Италии, о новом романе Писемского, о музыке Вагнера. Дорожный костюм ее состоял из своего рода амазонки — черного суконного платья с короткой кофточкой, отделанной мехом, плотно облегавшей ее стройные формы и великолепно обрисовывавшей их. Поверх платья на ней была темная дорожная шубка.

На волосах, собранных в античный узел, сидела маленькая темная меховая шапочка, с

которой ниспадала повязанная вокруг нее черная вуаль.

Ванда была очень хорошо настроена; она шаловливо клала мне в рот конфеты, причесывала меня, развязывала мой галстук и повязывала его вновь прелестной маленькой петлей, набросив шубку мне на колени, украдкой сжимала под ней мои пальцы, а когда наш возница-еврей заклевал носом, она даже поцеловала меня; холодные губки ее дышали свежим, морозным ароматом — словно юная роза, расцветшая осенью среди пожелтелых листьев и совсем обнаженных стеблей, чашечку которой первая изморозь покрыла мелкими ледяными бриллиантами.

* * *

Вот и железнодорожная станция. У вокзала мы вышли из коляски. Ванда с обворожительной улыбкой сбросила с плеч мне на руки шубку и пошла позаботиться о билетах.

Вернувшись, она переменялась неузнаваемо.

— Вот тебе билет, Григорий, — проговорила она таким тоном, каким надменные барыни говорят со своими лакеями.

— Третьего класса?! — воскликнул я с комическим ужасом, взглянув на билет.

— Конечно. Вот что не забудь: ты сядешь в вагон только тогда, когда я устроюсь в купе и ты мне больше не будешь нужен. На каждой станции ты должен входить в мой вагон и спрашивать, не будет ли каких приказаний. Смотри же, запомни все это. А теперь подай мне шубку.

Когда я смиренно, как раб, помог ей надеть шубку и последовал за нею, когда она отправилась отыскать свободное купе первого класса, она вскочила в него, опершись о мое плечо, и, усевшись, приказала закрыть ей ноги медвежьей шкурой и подложить грелку.

Затем она кивком головы отпустила меня.

Я медленно пошел в свой вагон третьего класса, весь пропитанный самым мерзким табачным дымом, как чистилище — туманными парами Ахеронта. Потянулся долгий путь, во время которого я мог поразмышлять о загадках человеческого бытия, величайшая из которых — душа женщины.

Каждый раз, когда останавливается поезд, я выскакиваю, бегу в ее вагон и, сняв фуражку, смиренно стою в ожидании ее приказаний. Она велит принести то чашку кофе, то стакан воды, раз потребовала легкий ужин, в другой раз таз с теплой водой, чтобы вымыть руки, — и так все время.

За время пути в ее купе появилось еще два-три пассажира, она позволяет им ухаживать за собой, кокетничает с ними; я умираю от ревности и вынужден мчаться сломя голову, чтобы быстро исполнять приказания и своевременно приносить все, не опоздав к отправлению поезда. Так проходит вся остальная часть дня, и наступает ночь.

Я, не в силах ни куска проглотить, ни глаз сомкнуть, дышу одним воздухом с польскими крестьянами, барышниками-евреями и грубы-

ми солдатами, — воздухом, насквозь пропитанным луком, — а когда захожу к ней в купе, вижу ее, закутанную в мягкие меха, возлежащую на подушках дивана, подобно восточной деспотнице, в то время как господа пассажиры сидят навтыжку, прислонившись к стене, точно индийские идолы, едва смея дышать.

В Вене, где она останавливается на день, чтобы сделать кой-какие покупки и прежде всего — закупить множество великолепных туалетов, она продолжает обращаться со мной как со своим слугой.

Я следую за ней на почтительном расстоянии, в десяти шагах; она то и дело протягивает мне пакеты, не удостоивая даже приветливого взгляда, и в конце концов я, нагруженный как осел, вынужден пыхтеть под тяжестью ее покупок.

Перед отъездом она отбирает у меня все мои костюмы, чтобы раздать их служащим отеля, и приказывает мне облачиться в ее ливрею, в панталоны и куртку ее цветов — светло-голубую с красной отделкой — и четырехугольную красную шапочку, украшенную павлиньими перьями, которая весьма идет мне.

На серебряных пуговицах — ее герб. У меня такое чувство, словно меня продали или я заложил душу дьяволу.

Мой прекрасный дьявол везет меня из Вены во Флоренцию. Вместо прежних поляков и евреев мое общество теперь составляют курчавые *contadini*, красавец сержант первого итальян-

ского гренадерского полка и бедняк немецкий художник. Табачный дым пахнет теперь не луком, а сыром.

Снова наступила ночь. Я лежу на своей деревянной скамье, все тело мое ноет, руки и ноги как будто перебиты. Но во всем этом есть что-то поэтическое. В окна мерцают звезды, у сержанта лицо настоящего Аполлона Бельведерского, а немец-художник поет прелестный немецкий романс.

Я лежу и думаю о красавице, уснувшей поцарски спокойным сном в своих мягких мехах.

* * *

Флоренция! Шум, крики, назойливые афчин и фиакры. Ванда подзывает один из экипажей, а носильщиков прогоняет.

— Для чего же мне тогда слуга? — говорит она. — Григорий... вот квитанция... получи багаж!

Она плотнее закутывается в свою меховую шубу и спокойно усаживается в экипаж, пока я втаскиваю один за другим тяжелые чемоданы. Под тяжестью последнего я спотыкаюсь, но стоящий поблизости карабинер с интеллигентным лицом помогает мне, поддержав его. Ванда смеется.

— Этот чемодан должен быть тяжеленек, — говорит она, — потому что в нем все мои меха.

Я вскарабкался на козлы, вытирая прозрачные капли со лба. Она крикнула извозчику название гостиницы, тот погнал лошадь. Через несколько минут мы остановились перед ярко освещенным подъездом.

— Комнаты есть? — спросила она швейцара.

— Есть, сударыня.

— Две комнаты для меня, одну для моего человека — все с печами.

— Две элегантные комнаты, сударыня, обе с каминами — к вашим услугам, — сказал подбежавший номерной, — а для вашего слуги есть одна свободная без печи.

— Покажите.

Осмотрев комнаты, она кратко обронила:

— Хорошо. Я беру их. Только живо затопите. Человек может спать в нетопленной.

Я лишь взглянул на нее.

— Принеси сюда чемоданы, Григорий, — приказала она, не обращая внимания на мой взгляд. — Я пока переоденусь и сойду в столовую. Потом можешь и себе взять чего-нибудь на ужин.

Она вышла в смежную комнату, а я втащил снизу чемоданы, помог номерному затопить камин в ее спальне, пока он пытался на скверном французском языке расспрашивать меня о моей «госпоже», и некоторое время с безмолвной завистью смотрел на пылающий огонь в камине, на душистую белую постель под пологом, на ковры, которыми был устлан пол.

Затем я спустился, усталый и голодный, вниз и потребовал чего-нибудь поесть. Добродушный кельнер, оказавшийся австрийским солдатом и изо всех сил старавшийся занимать меня разговором по-немецки, проводил меня в столовую и подал еду. Только я после тридцатishестичасо-

вой голодовки сделал первый глоток и подцепил на вилку кусок горячей пищи — она вошла в столовую.

Я поднялся с места.

— Почему вы приводите меня в столовую, в которой ест мой человек? — набросилась она на номерного, вся пылая гневом, и, резко повернувшись, вышла из зала.

Я возблагодарил небо за то, что мог, по крайней мере, продолжать есть. Закончив, я поднялся на пятый этаж в свою комнату, в которой уже стоял мой маленький чемодан и горела грязная лампочка. Узкая комната без печи, без окна, с маленьким отверстием для притока воздуха; дьявольский холод. Я невольно громко расхохотался — слышалось такое звонкое эхо, что я испугался звука собственного смеха.

Вдруг дверь распахнулась и вошедший номерной воскликнул с театральным, чисто итальянским жестом:

— Подите тотчас же к вашей госпоже, приказано сию минуту!

Беру свою фуражку, сбегая вниз по лестнице, подхожу благополучно к ее двери на втором этаже и стучусь.

— Войдите.

* * *

Я вошел, закрыл за собой дверь и остановился на пороге.

Ванда уютно уселась на красном бархатном диване в неглиже из белой кисеи с кружевами,

ноги ее покоились на подушке такого же красного бархата, а на плечи был наброшен тот самый меховой плащ, в котором она явилась в первый раз в образе богини любви.

Желтые огни свечей в подсвечниках, стоявших на трюмо, и их отражение в огромном зеркале в соединении с красным пламенем камина давали дивную игру на зеленом бархате, на темно-коричневом соболе плаща и на пламенно-рыжих волосах прекрасной женщины, обратившей ко мне свое ясное, но холодное лицо и остановившей на мне свои холодные зеленые глаза.

— Я довольна тобой, Григорий, — начала она.

Я поклонился.

— Подойди поближе.

Я повиновался.

— Еще ближе, — сказала она, опустив глаза и поглаживая соболя рукой. — Венера в мехах принимает своего раба. Я вижу, что вы все же не просто заурядный фантазер; по крайней мере, вы не отступаете от своих фантазий, а способны осуществить то, что выдумали, хотя бы это и было крайнее безумие. Сознаюсь, что мне это нравится, это мне импонирует. В этом есть известная сила, а уважать можно только силу.

Я думаю даже, что при исключительных обстоятельствах, в великую эпоху, то, что теперь кажется вашей слабостью, оказалось бы изумительной силой. В эпоху первых императоров вы были бы мучеником, в эпоху Реформации — анабаптистом, во время Французской револю-

ции — одним из тех энтузиастов-жирондистов, которые всходили на гильотину с Марсельезой на устах. А теперь вы мой раб, мой...

Вдруг она вскочила — так порывисто, что с плеч ее соскользнули соболя, и нежно, но сильно обвила мою шею руками.

— Мой возлюбленный раб... О, Северин, как я люблю тебя, как я боготворю тебя, как ты живописен в этом краковском костюме! Но ты будешь зябнуть сегодня ночью в этой жалкой комнате наверху без камина... Не дать ли тебе, радость моя, мой меховой плащ, вот этот, большой...

Она быстро подняла его, набросила мне на плечи, и — я оглянуться не успел, как она всего меня в него закутала.

— О, как идут тебе меха! Как они оттеняют твои благородные черты! Как только ты перестанешь быть рабом моим, ты будешь носить бархатную куртку с собольей опушкой — слышишь? — иначе я никогда больше не надену свою меховую кофточку...

И снова она принялась ласкать и целовать меня и наконец увлекла на маленький диван.

— А тебе понравилось, кажется, в мехах... Отдай мне их, скорей, скорей, иначе я совсем утрачу сознание своего достоинства.

Я накинул на нее плащ, и Ванда продела правую руку в рукав.

— Совсем как на картине Тициана. Бросим, однако, шутки. Не будь же таким несчастным, Северин, мне грустно видеть тебя таким... Пока

ты ведь еще только перед светом мой слуга, пока ты еще не раб мой, покуда ты не подписал договора — ты свободен и можешь в любую минуту уйти от меня. Свою роль ты сыграл превосходно, я была в восторге! Но не надоело ли тебе это, не находишь ли ты меня ужасной? Да говори же... я приказываю тебе говорить!

— Ты требуешь откровенного признания, Ванда?

— Да, требую.

— Хорошо, если даже ты злоупотребишь им — пусть! Я влюблен в тебя больше, чем когда-либо, и буду любить тебя, боготворить тебя тем более, тем фанатичнее, чем сильнее ты меня будешь мучить. Такая, какой ты была со мною сейчас... ты зажигаешь во мне кровь, опьяняешь меня, дурманишь мне голову...

Я прижал ее к груди, припав к ее влажным губам долгим, безумным поцелуем.

— Красавица моя! — вырвалось у меня затем, и, заглянув в ее глаза, я в порыве неудержимого восторга сорвал с ее плеч соболий плащ и прильнул губами к ее затылку.

— Так ты любишь меня, когда я жестока? — сказала Ванда. — Теперь ступай! Ты мне надоел... Ты что же, не слышишь?

Она так ударила меня по щеке, что искры посыпались у меня из глаз и в ушах зазвенело.

— Помоги мне надеть мои меха, раб.

Я помог, как сумел.

— Как неуклюже! — воскликнула она и, едва надев плащ, снова ударила меня по лицу.

Я почувствовал, что бледнею.

— Больно? Я сделала тебе больно? — спросила она мягко, дотронувшись до меня рукой.

— Нет, нет! — воскликнул я.

— Ты не смеешь жаловаться, во всяком случае ты ведь хотел этого. Ну, поцелуй же меня еще...

Я охватил ее руками, ее губы впились в мои... И когда она лежала в своих широких тяжелых мехах на моей груди, меня охватило странное, щемящее, тревожное чувство — словно меня обнимал дикий зверь, медведица... и мне чудилось, что ее когти вот-вот вонзятся в мое тело.

Но на этот раз медведица милостиво отпустила меня.

Грудь моя была полна самых радостных надежд, когда я поднялся в свою жалкую людскую и бросился на жесткую кровать.

«Как смешна, в сущности, жизнь, — подумал я. — Только что на груди моей покоилась самая прекрасная женщина в мире — сама Венера, а теперь мне выпал случай познакомиться с адом, как он представляется китайцам: по их верованиям, грешники не попадают в пылающий огонь. Черти гонят их по ледяным полям. Вероятно, основателям их религии тоже приходилось ночевать в нетопленых комнатах».

* * *

Я проснулся сегодня среди ночи с криком. Мне снилось ледяное поле, на котором я заблудился и тщетно искал выхода. Вдруг откуда-то

появился эскимос на санях, запряженных оленем, и у него было лицо того номерного, который отвел мне нетопленную комнату.

— Что вам здесь нужно, сударь? — воскликнул он. — Здесь Северный полюс.

Через секунду он исчез, и я увидел Ванду, скользившую на маленьких коньках по поверхности льда, ее белая атласная юбка развевалась и шелестела, горноста́й на ее кофточке и шапочке, а еще более лицо ее сверкали снежной белизной. Она подлетела, скользя, ко мне, схватила меня в объятия, начала целовать... Вдруг я почувствовал, как по мне горячей струей потекла моя кровь.

— Что ты делаешь? — в ужасе воскликнул я.

Она засмеялась, а когда я взгляделся получше, то увидел, что это уже была не Ванда, а большая белая медведица, вонзившая свои когти в мое тело.

В отчаянии я вскрикнул — и все еще слышал ее дьявольский смех, проснувшись и озираясь в недоумении вокруг.

* * *

Рано утром я встал у двери апартаментов Ванды и, когда человек принес ей кофе, принял его у него из рук и приготовил для моей прекрасной повелительницы.

Она уже была одета, и вид у нее был дивный — свежая, розовая. Она ласково улыбнулась и подозвала меня, когда я хотел почти-точно удалиться.

— Позавтракай и ты поскорее, Григорий, — сказала она. — Тотчас после завтрака мы отправимся отыскивать квартиру. Я хочу выбраться из гостиницы как можно скорее — здесь мы страшно стеснены. Стоит мне чуть долее заболтаться с тобой, сразу скажут: русская барыня в любовной связи со своим слугой, — не вымирает, видно, порода Екатерины.

Через полчаса мы вышли из гостиницы, Ванда — в суконном платье и в русской шапочке, я — в своем краковском костюме. Мы привлекали всеобщее внимание. Я шел на расстоянии шагов десяти от нее и старался сохранять мрачный вид, хотя ежесекундно боялся расхохотаться.

Почти на каждой улице на множестве красивых домов красовались дощечки с надписями: «Camere ammobiliate» — меблированные комнаты. Ванда посылала меня каждый раз осматривать, я бегал по лестницам, и только тогда, когда я ей докладывал, что квартира, кажется, соответствует ее требованиям, она сама заходила посмотреть.

К полудню я успел устать, как загнанная гончая на большой охоте.

Мы заходили из дома в дом и каждый раз уходили ни с чем, не находя подходящей квартиры. Ванда уже начинала немного раздражаться. Вдруг она сказала мне:

— Северин... серьезность, с которой ты играешь свою роль, и это насилие, которое мы делаем над собой... меня это волнует... я больше

не в силах... ты так мил — я должна поцеловать тебя. Зайдем в какой-нибудь дом.

— Но, сударыня...

— Григорий!

Она вошла в ближайший незапертый подъезд, поднялась на несколько ступеней по темной лестнице, со страстной нежностью обвила мою шею и поцеловала меня.

— О Северин, твой расчет был тонок... В качестве раба ты гораздо опаснее, чем я думала... Ты неотразим, я боюсь, что когда-нибудь влюблюсь в тебя!

— Разве ты больше не любишь меня? — спросил я, охваченный внезапным страхом.

Она серьезно покачала головой, но снова прижалась ко мне своими дивными, упоительными губами.

Мы вернулись в гостиницу. Ванда наскоро съела холодный завтрак и приказала, чтобы я поел столь же быстро.

Однако мне прислуживали, разумеется, не так старательно, как ей, и подавали не так быстро; лишь только я успел проглотить первый кусочек бифштекса, как вошел номерной и с тем же театральным жестом, который мне уже был знаком, воскликнул:

— Ступайте сию минуту, зовут!

Я наскоро горестно простился со своим завтраком и, усталый и голодный, поспешил к Ванде, ожидавшей меня уже на улице.

— Такой жестокой я все же не считал вас, сударыня, — не думал, что после всей этой уто-

мительной беготни вы не позволите мне спокойно поесть.

Ванда от души засмеялась.

— Я думала, ты уже закончил. Ну не беда. Человек рожден для страданий, а ты в особенности. Мученики тоже не едали бифштексов.

Я последовал за ней, голодный и сердитый.

— Я отказалась от мысли снимать квартиру в городе, — продолжала Ванда. — Очень трудно найти целый этаж, в котором можно было бы жить уединенно и делать что вздумается. При таких необычных, фантастических отношениях, каковы наши, все условия должны быть соответствующими. Я найму целую виллу и... погоди, ты будешь поражен. Разрешаю тебе теперь поесть хорошенько и побродить по Флоренции, осмотреться немножко. Раньше вечера я в гостиницу не вернусь. Если по возвращении ты мне понадобишься, я велю позвать тебя.

* * *

Я осмотрел собор, Palazzo vecchio, Loggia di Lanzi и долго простоял над Арно. Я не мог оторвать глаз от дивной панорамы старинной части Флоренции, круглые купола и башни которой мягко вырисовывались на голубом безоблачном небе; от великолепных мостов, сквозь широкие арки которых катила свои резвые волны желтая красавица река; от зеленых холмов, окаймлявших город, покрытых стройными кипарисами, огромными зданиями, дворцами и монастырями.

Это особый мир, совсем не похожий на тот, в котором живем мы, — веселый, чувственный, смеющийся. И в самой природе нет и тени той серьезности и угрюмости, которыми отличается наша. Далеко-далеко, до самых отдаленных белых вилл, разбросанных по светло-зеленым горам, не видно ни одного пятнышка, которое не было бы озарено ярким солнечным светом.

И люди здесь не так серьезны, как мы, — возможно, они меньше нас мыслят, но выглядят счастливыми.

Утверждают даже, что южане легче умирают.

Теперь мне кажется, что возможна красота без шипов и чувственные наслаждения без муки.

* * *

Ванда нашла прелестную небольшую виллу на одном из чудных холмов на левом берегу реки Арно и сняла ее на зиму. Вилла эта расположена посреди великолепного сада с чудесными густыми аллеями, зелеными полянками и множеством камелий. Одноэтажная, она выстроена в итальянском стиле — четырехугольником. Вдоль одного из фасадов тянется открытая галерея, уставленная гипсовыми копиями античных статуй; от этой галереи каменные ступени ведут в сад. Другой ход из галереи ведет в ванную комнату с великолепным мраморным бассейном, откуда по витой лестнице можно попасть в спальню госпожи.

Весь этот этаж занимает Ванда.

Мне отведена одна комната под лестницей, на уровне земли; она очень хорошенькая, в ней есть даже камин.

Я прошел весь сад вдоль и поперек и на одном круглом холме нашел маленький храм, вход в который оказался запертым. Но я заметил в двери щель и, прикинув к ней глазом, увидел на белом пьедестале богиню любви.

По моему телу пробежала легкая дрожь. Мне почудилось, что богиня улыбнулась мне: — Ты пришел? Я ждала тебя.

* * *

Вечер. Хорошенькая маленькая горничная приходит ко мне с приказанием от госпожи — явиться к ней.

Я поднимаюсь по шикарной мраморной лестнице, прохожу по приемной, по обширной гостиной, обставленной с расточительной роскошью, и стучусь в дверь ее спальни.

Я стучусь очень тихо, потому что окружающая роскошь стесняет меня; по-видимому, стук мой не был услышан, и некоторое время я стою перед дверью. У меня такое чувство, словно это опочивальня Екатерины Великой и она сейчас покажется оттуда в своем зеленом меховом спальном халате с красной орденой лентой на обнаженной груди, вся в мелких белых напудренных локонах.

Стучусь еще раз. Ванда нетерпеливо распахивает дверь.

— Почему так долго?

— Я стоял за дверью, ты не слышала моего стука... — робко отвечаю я.

Она запирает дверь, бросается мне на шею и ведет меня к оттоманке, обитой красным штофом, на которой она отдыхала перед моим приходом. Вся обстановка комнаты — обои, гардины, портьеры, полог над кроватью — все из красного дамá. Потолок представляет прекрасную картину — Самсон и Далила.

Ванда принимает меня в головокружительном дезабилье, белый атлас ниспадает легкими живописными складками вдоль ее стройного тела, оставляя обнаженными руки и грудь, мягко и небрежно утопающую в темном мехе широкого зелено-бархатного собольего плаща. Рыжая масса волос, полураспущенных и подхваченных нитками черного жемчуга, ниспадает вдоль спины до самых бедер.

— Венера в мехах... — прошептал я. Она привлекла меня к себе на грудь, под ее поцелуями у меня захватило дух. Больше я не произнес ни слова, больше я и не думал ни о чем — все закружилось и потонуло в море неизъяснимого, неимоверного блаженства.

Наконец Ванда мягко отстранила меня и, опершись на локоть, оглянулась. Я соскользнул на ковер, к ее ногам; она привлекла меня к себе, играя моими волосами.

— Любишь ли ты меня еще? — спросила она, взглянув на меня отуманенными страстью глазами.

— Люблю ли! — воскликнул я.

— Ты не забыл свою клятву? — продолжала она с очаровательной улыбкой. — Ну вот, теперь, когда все устроено, все готово, я спрашиваю тебя еще раз: действительно ли ты всерьез решил стать моим рабом?

— Разве я теперь уже не раб твой? — удивленно спросил я.

— Ты еще не подписал документ.

— Документ?.. Какой документ?

— Ах, значит, ты уже не помнишь... Ну, тогда оставим это.

— Но, Ванда, ты ведь знаешь, что для меня нет большего блаженства, чем служить тебе, быть твоим рабом, что я отдал бы все на свете, лишь бы ты владела мной безраздельно, держала в руках самую жизнь мою...

— Как ты хорош, когда говоришь так страстно... — прошептала она. — Ах, я влюблена в тебя больше, чем когда-либо... а надо быть с тобой деспотичной, строгой, жестокой... боюсь, я не в силах буду...

— Я этого не боюсь, — с улыбкой ответил я. — Где документ?

— Вот... — Слегка сконфуженная, она вытащила из-за корсета бумагу и протянула ее мне.

— Чтобы дать тебе почувствовать мою беспредельную власть над тобой, я приготовила еще один документ, в котором ты объявляешь свою решимость лишиться себя жизни. Тогда я смогу даже убить тебя, если захочу.

— Подай его.

Пока я разворачивал бумаги, Ванда принесла перо и чернила, потом под села ко мне и, обняв меня рукой за шею, смотрела через мое плечо, покуда я читал.

Первый документ гласил:

*Договор
между Вандой фон Дунаевой
и Северином фон Кузимским.*

«От сего числа г. Северин фон Кузимский перестает считаться женихом г-жи Ванды фон Дунаевой и отказывается от всех своих прав в качестве возлюбленного; отныне он, напротив, обязывается честным словом человека и дворянина быть *рабом* ее до тех пор, пока она сама не возвратит ему свободу.

В качестве раба г-жи Дунаевой он обязывается носить имя Григорий, беспрекословно исполнять всякое ее желание, повиноваться всякому ее приказанию, держаться со своей госпожой как ее подданный, смотреть на всякий знак ее благоклонности как на чрезвычайную милость.

Г-жа Дунаева не только вправе наказывать своего раба за всякое упущение и за всякий проступок по собственному усмотрению, но и мучить его по первому своему капризу или для развлечения, как только вздумается, — вправе даже убить его, если ей этого захочется, — словом, он является ее неограниченной собственностью.

В случае, если г-жа Дунаева пожелает даровать своему рабу свободу, г. Северин фон Ку-

зимский должен забыть все, что он испытал или претерпел, будучи ее рабом, и *никогда, ни при каких обстоятельствах и ни под каким видом не сможет помышлять о мести или возмездии.*

Г-жа Дунаева обязывается, со своей стороны, одеваться по возможности чаще в меха, в особенности в тех случаях, когда будет проявлять в отношении своего раба жестокость».

Под текстом договора стояло нынешнее число.

Второй документ содержал всего несколько слов:

«Наскучив жизнью и ее разочарованиями, добровольно лишаю себя своей никчемной жизни».

Глубокий ужас охватил меня, когда я дочитал. Еще было не поздно, я мог еще отказаться, но безумие страсти, вид прекрасной женщины, склонившейся над моим плечом, вихрем увлекли меня.

— Вот это тебе нужно будет сначала переписать, Северин, — сказала Ванда, указывая на второй документ, — это должно быть написано твоим почерком; в договоре этого, разумеется, не нужно.

Я быстро переписал пару строк, в которых я объявлял себя самоубийцей, и передал бумагу Ванде. Она прочла, потом с улыбкой положила ее на стол.

— Ну, хватит у тебя мужества подписать это? — спросила она, склонив голову, с легкой усмешкой.

Я взял перо.

— Дай, я первая подпишу, у тебя рука дрожит. Разве тебя так пугает твое счастье?

Она взяла у меня из рук договор и перо. Борясь с самим собой, я озирался вокруг и вдруг, подняв глаза к потолку, заметил то, что мне часто бросалось в глаза на многих полотнах итальянской и голландской школы, — полную историческую недостоверность картины, придававшую изображению странный, жуткий для меня в эту минуту характер.

Далила, дама с пышными формами и огненно-рыжими волосами, лежит, полуобнаженная, в темном меховом плаще на красной оттоманке и, улыбаясь, нагибается к Самсону, которого филистимляне, связав, бросили наземь. В кокетливой насмешливости ее улыбки дышит истинно адская жестокость, полузакрытые глаза ее встречаются с глазами Самсона, и в этот последний миг устремленными на нее с безумной любовью, — а враг уже упирается коленом в его грудь, готовый вонзить в него раскаленное железо.

— Вот и готово! — воскликнула Ванда. — Но что с тобой? Отчего ты так растерян? Ведь все остается по-прежнему и после того, как ты подпишешь. Неужели ты до сих пор еще меня не знаешь, радость моя?

Я взглянул на договор. Крупным смелым почерком красовалось под ним ее имя. Еще раз взглянул я в ее обворожительные глаза, потом взял перо и быстро подписал договор.

— Ты дрогнул, — спокойно сказала Ванда. — Хочешь, я буду водить твоим пером?

В ту же секунду она мягко схватила меня за руку — и через мгновение моя подпись была выведена и под второй бумагой.

Ванда еще раз просмотрела оба документа, потом заперла их в ящик стола, стоявшего в изголовье оттоманки.

— Вот так, теперь отдай мне свои паспорт и деньги.

Я вынимаю свой бумажник и протягиваю ей. Заглянув в него, она кивнула и положила его туда же, куда и бумаги, а я опустился перед ней на колени и в сладком упоении склонился головой к ней на грудь.

Вдруг она оттолкнула меня ногой, вскочила, потянулась рукой к колокольчику, и на звонок ее в комнату вбежали три молодые, стройные негритянки, словно выточенные из эбенового дерева и одетые в красный атлас; у каждой было в руке по веревке.

Тут только я вмиг понял свое положение. Я хотел встать, но Ванда, выпрямившись во весь рост и обратив ко мне свое холодное прекрасное лицо со сдвинутыми бровями, с выражением злой насмешки в глазах, повелительно глядя на меня, сделала знак рукой — и раньше чем я успел сообразить, что происходит, негритянки опрокинули меня на пол, крепко связали по ногам и рукам, скрутив кисти рук за спиной, словно приговоренному к казни, так что я едва мог пошевелиться.

— Поддай мне хлыст, Гайдэ, — зловеще-спокойно сказала Ванда.

Негритянка подала его повелительнице, склонив колени.

— Иними с меня тяжелый плащ — он мне мешает.

Негритянка повиновалась.

— Кофточку... вон там! — снова приказала Ванда.

Гайдэ быстро подала кацавейку с горностаевой опушкой, лежавшую на кровати, и Ванда чарующим, неподражаемым движением быстро скользнула руками в рукава.

— Привяжите его к этой колонне.

Негритянки подняли меня и, опоясав толстой веревкой, привязали к одной из массивных колонн, поддерживавших полог широкой итальянской кровати.

Затем они вдруг исчезли, словно провалившись сквозь землю.

Ванда быстро подошла ко мне. Белое атласное платье ее расстилалось длинным шлейфом, как потоки жидкого серебра, как лунный свет. Волосы пылали, сверкая огнем на фоне белой меховой опушки. Подбоченясь левой рукой, держа в правой хлыст, она остановилась, коротко и отрывисто рассмеявшись.

— Теперь игра кончена, — произнесла она холодным, бессердечным тоном, — теперь это очень серьезно — слышишь? Глупец, отдавший *мне* — высокомерной, своенравной женщине — как игрушка, в безумном ослеплении!

Я смеюсь над тобой, презираю тебя! Ты больше не возлюбленный мой — ты *мой раб*, отданный мне на произвол, жизнь и смерть твои — в моих руках. О, ты узнаешь меня!

Прежде всего ты у меня сейчас в полной мере отведаешь хлыста, без всякой вины своей, — для того чтоб ты понял, что ждет тебя, если ты будешь неловок, непослушен или непокорен.

И, с дикой грацией засучив опущенные мехом рукава, она хлестнула меня по спине.

Я вздрогнул всем телом, хлыст врезался мне в тело, как нож.

— Нравится тебе это?

Я молчал.

— О, погоди, — ты еще завизжишь у меня под кнутом, как собака! — И вслед за угрозой посыпались удары.

Удары падали мне на спину, на руки, на затылок, быстрые, частые и со страшной силой... Я стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть. Вот она попала мне по лицу, горячая кровь заструилась по моим щекам — но она смеялась и продолжала хлестать.

— Только теперь я понимаю тебя, — говорила она в промежутках между ударами. — Какое наслаждение иметь такую власть над человеком, и вдобавок над человеком, который любит... ведь ты меня любишь?.. О, погоди! — я еще растерзаю тебя... с каждым ударом мое наслаждение возрастает! Ну, извивайся же, кричи, визжи! Не будет тебе от меня пощады!..

Наконец она, по-видимому, устала.

Она отшвырнула хлыст, растянулась на оттоманке и позвонила.

Вошли негритянки.

— Развяжите его.

Едва была развязана веревка, я бревном повалился на пол. Черные женщины засмеялись, обнажив свои белые зубы.

— Развяжите ему веревки на ногах.

Это было сделано. Я смог подняться.

— Поди сюда, Григорий.

Я подхожу к прекрасной женщине, еще никогда не казавшейся мне такой соблазнительной, как теперь, в припадке жестокости, в глумлении.

— Еще на шаг ближе, — приказала она. — На колени и целуй ногу!

Она протягивает ногу из-под белого атласного подола, и я, сверхчувственный безумец, припадаю к ней губами.

— Теперь ты целый месяц не увидишь меня, Григорий, — говорит она серьезно, — ты отчужишься от меня на это время и таким образом легче освоишься со своим новым положением при мне. В течение этого месяца ты будешь работать в саду и ожидать моих приказаний. А теперь — ступай, раб!

* * *

Месяц прошел в однообразном тяжелом труде, в тоскливом томлении, — в томлении по той, которая причинила мне все эти страдания.

Я прикомандирован к садовнику, помогаю ему ставить подпорки к деревьям, к плетням, пересаживать цветы, окапывать клумбы, подметать дорожки, посыпанные гравием. Я делю его грубый стол и его жесткое ложе, встаю и ложусь спать с петухами.

Время от времени до меня доходит слух, что наша госпожа веселится, что она окружена поклонниками, а однажды из сада до меня донесся ее веселый смех.

Я кажусь себе совершенным глупцом. Отупел ли я от этой жизни или и раньше был таким?

Месяц подходит к концу. Послезавтра истекает срок. Что-то она теперь сделает со мной? Или она совсем обо мне забыла и я буду до праведной кончины своей подпирать деревья и вязать букеты?

* * *

Письменное приказание:

«Рабу Григорию сим повелеваю явиться служить мне лично.

Ванда Дунаева».

* * *

С сильно бьющимся сердцем раздвигаю я утром следующего дня штофные портьеры и вхожу в спальню моей богини, еще утопающую в прелестном полусвете.

— Это ты, Григорий? — спросила она, когда я, стоя на коленях, растапливал камин.

Я весь затрепетал при звуке любимого голоса. Ее самой мне не видно, она почивает, недоступная, за опущенным пологом кровати.

— Так точно, сударыня.

— Который час?

— Пробило девять.

— Завтрак.

Я бегу за ним и, принеся поднос с кофе, опускаюсь на колени у ее постели, за пологом.

— Вот завтрак, госпожа.

Ванда отдергивает полог и — странно! — в первое мгновение, когда я увидел ее, с волнами распущенных волос на белых подушках, она показалась мне прекрасной, но совершенно чужой; это не прежние, знакомые любимые черты; это лицо жестко, и на нем лежит зловещая печать усталости, пресыщения.

Неужели это было и прежде, но я не замечал этого?

Она обращает свои зеленые глаза на меня — больше с любопытством, чем с угрозой или с состраданием, — и натягивает на обнаженные плечи темный меховой халат, в котором она почивает.

В это мгновение она так волшебным, так головокружительно прекрасна, что я чувствую, как кровь ударила мне в голову, прихлынула к сердцу, и поднос задрожал в моей руке. Заметив это, она взялась за хлыст, лежавший на ее ночном столике.

— Ты неловок, раб, — говорит она, нахмурив брови.

Я опускаю глаза и держу поднос как только могу крепко, а она пьет кофе, зевает и потягивается своим дивным телом в великолепных мехах.

* * *

Она позвонила. Я вошел.

— Это письмо князю Корсини.

Я помчался в город, передал письмо князю, красивому молодому человеку с жгучими черными глазами и, весь истерзанный ревностью, принес ей ответ.

— Что с тобой? — спрашивает она, вглядываясь в меня. — Ты страшно бледен.

— Ничего, госпожа, — немного запыхался от быстрой ходьбы.

* * *

За завтраком князь сидит рядом с ней, и я должен прислуживать им обоим, а они шутят, и я совершенно не существую ни для нее, ни для него. На мгновение у меня потемнело в глазах, и я пролил на скатерть и на ее платье бордо, которое в ту минуту наливал ему в рюмку.

— Ты неуклюж! — воскликнула Ванда и дала мне пощечину.

Князь засмеялся, засмеялась и она, а мне кровь бросилась в лицо.

* * *

После завтрака она едет кататься в маленькой коляске, запряженной английской лошадью, и

сама правит. Я сижу позади нее и вижу, как она кокетничает и кланяется, улыбаясь, когда кто-нибудь из знатных господ здоровается с нею.

Когда я помогаю ей выйти из коляски, она слегка опирается на мою руку — прикосновение пронизывает меня электрическим током. Ах, она все же дивная женщина, и я люблю ее больше, чем когда-либо.

* * *

К обеду, к шести часам вечера, явились несколько дам и мужчин. Я служу за столом и на этот раз не проливаю вино на скатерть.

Одна пощечина стоит десятка лекций — она так быстро воспитывает, в особенности когда ее наносит маленькая, пухлая женская ручка.

* * *

После обеда она едет в театр Pergola. Спускаясь с лестницы в своем черном бархатном платье с широким горностаевым воротником, с диадемой из белых роз в волосах, она ослепительно прекрасна. Я откидываю подножку, помогаю ей сесть в карету. У подъезда театра я соскакиваю с козел; выходя из кареты, она опирается на мою руку, трепещущую под сладостной ношей. Я открываю ей дверь ложи и затем жду ее в коридоре.

Четыре часа длится спектакль, все это время она принимает в ложе своих поклонников, а я стискиваю зубы от бешенства.

* * *

Далеко за полночь в последний раз раздаётся звонок моей повелительницы.

— Огня! — коротко приказывает она и так же коротко: — Чаю! — когда огонь в камине затрещал.

Когда я вошел с кипящим самоваром, она уже успела раздеться и накидывала с помощью негритянки свое белое неглиже. После этого Гайдэ удалилась.

— Поддай ночной меховой халат, — говорит Ванда, потягиваясь с сонной грацией всем своим дивным телом.

Я беру с кресла халат и держу его, пока она лениво просовывает руки в рукава. Затем она бросается на подушки оттоманки.

— Сними мне ботинки и надень бархатные туфли.

Я становлюсь на колени и стягиваю маленький ботинок, который не сразу снимается.

— Живо, живо! — восклицает Ванда. — Ты мне больно делаешь! Погоди-ка, я с тобой расправлюсь!

Хлестнула меня хлыстом... Наконец ботинки сняты!

— А теперь ступай!

Еще один пинок ногой — и я отпущен на покой.

* * *

Сегодня я проводил ее на вечер. В передней она приказала мне снять с нее шубку и вошла

в ярко освещенный зал с горделивой улыбкой, уверенная в своей победе, вновь предоставив мне часами предаваться своим унылым, однообразным думам.

Время от времени, когда дверь на миг открывалась, до меня доносились звуки музыки. Два-три лакея попытались было вступить со мной в разговор, но, поскольку я знаю только несколько слов по-итальянски, вскоре оставили меня в покое.

Наконец я засыпаю и вижу во сне, что в припадке безумной ревности убил Ванду и что меня приговорили к смертной казни; я вижу, как меня прикрепили к эшафоту, опускается топор... я уже чувствую его на своем затылке, но я еще жив...

Вдруг палач ударяет меня по лицу...

Нет, это не палач — это Ванда. Гневная, она стоит предо мной, ожидая шубки.

Вмиг я прихожу в себя, подаю шубку и помогаю надеть ее.

Какое огромное наслаждение — закутывать в шубку красивую, роскошную женщину, видеть, чувствовать, как исчезает в ней дивное тело, как драгоценный шелковистый мех прилегает к прелестному затылку, приподымать волнистые локоны и расправлять их по воротнику, а потом, когда она сбрасывает шубку, чувствовать восхитительную теплоту и легкий запах ее тела, которыми дышат золотистые волоски соболя... От этого голову потерять можно!

Наконец-то выдался день без гостей, без театра, без выездов. Я вздыхаю с облегчением. Ванда сидит в галерее и читает. Поручений для меня, по-видимому, не будет. С наступлением сумерек, когда спускается серебристая вечерняя полумгла, она уходит к себе.

Я служу за обедом, она обедает одна, но — ни одного взгляда, ни одного звука для меня, ни даже... пощечины.

О, как я страстно томлюсь по удару от ее руки!

Меня душат слезы. Я чувствую, как глубоко она унизила меня — так глубоко, что теперь у нее уже даже нет желания мучить меня, унижать и оскорблять.

Перед тем как лечь спать, она звонком призывает меня.

— Сегодня ты будешь ночевать здесь, в комнате. В прошлую ночь я видела ужасные сны, сегодня я боюсь остаться одна. Возьми себе подушку с оттоманки и ложись на медвежьей шкуре у моих ног.

Сказав это, Ванда тушит свечи, так что комната остается освещенной только маленьким фонариком на потолке.

— Не шевелись, не то разбудишь меня.

Я сделал все, что она приказала, но долго не мог уснуть. Я видел красавицу — прекрасную, как богиня! — закутанную в темный мех ночного халата, лежавшую на спине, с запрокинутыми за голову руками, утопающими в массе рыжих волос. Я слышал, как вздымалась ее дивная

грудь от глубокого ритмического дыхания, — и каждый раз, стоило ей пошевелиться, я неслышно вскакивал, прислушиваясь и выжидая, не буду ли я нужен ей.

Но я не был ей нужен.

Я был для нее всего лишь свечою впотьмах или револьвером, который кладут под подушку для безопасности.

* * *

Кто же из нас не в своем уме — я или она? Что это — легкомысленный каприз изобретательного женского ума или же эта женщина действительно одна из тех нероновских натур, которые находят дьявольское наслаждение в том, чтобы бросить себе под ноги и растоптать, как червя, человека, мыслящего, чувствующего и обладающего волей, так же как и они сами?

Что я пережил!

Когда я склонился на колени перед ее постелью с подносом в руках, Ванда вдруг положила руку мне на плечо и пристально взглянула мне в глаза.

— Какие у тебя дивные глаза! — тихо сказала она. — Как они похорошели с тех пор, как ты страдаешь! Ты очень несчастлив?

Я опустил голову и продолжал молчать.

— Северин! Любишь ли ты меня еще?! — страстно воскликнула она вдруг. — Можешь ли ты еще любить меня? — И она привлекла меня к себе с такой силой, что поднос опрокинулся,

чашки и все остальное попадали на пол, кофе потек по ковру.

— Ванда, моя Ванда! — крикнул я как безумный, стиснул ее в объятиях и осыпал поцелуями ее губы, лицо и грудь. — В этом-то и горе мое, что я люблю тебя тем больше, тем безумнее, чем сильнее ты меня мучишь, чем чаще ты мне изменяешь! О, я умру от муки, от любви и ревности!

— Но я еще не изменила тебе, Северин, — улыбаясь, возразила Ванда.

— Не изменила? Ванда! Ради бога... не шути со мной так бессердечно! Ведь я же сам носил письмо к князю.

— Ну да, с приглашением на завтрак.

— С тех пор как мы во Флоренции, ты...

— ...хранила безусловную верность тебе, — закончила Ванда. — Клянусь тебе в этом всем, что для меня свято! Я делала все только для того, чтоб исполнить твою фантазию — только для тебя!

Но поклонником я все же обзаведусь, иначе дело не будет доведено до конца и ты в конце концов станешь упрекать меня в том, что я недостаточно жестока к тебе. Дорогой мой, прекрасный мой раб! Сегодня ты должен быть снова Северином, быть только моим возлюбленным!

Я не раздавала твоих платьев, они все там, в сундуке, вынь их, оденься во все то, что ты носил там, в маленьком карпатском курорте, где мы так искренно любили друг друга. За-

будь все, что произошло с тех пор... О, ты легко забудешь все в моих объятиях, я прогоню поцелуями твою печаль.

Она нежно обнимала меня, как ребенка, целовала, ласкала... потом сказала с прелестной улыбкой:

— Оденься же. Я тоже буду одеваться. Надеть мне меховую кофточку, хочешь? Конечно да, я и сама знаю. Иди же!

Когда я вернулся, она стояла посреди комнаты в своем белом атласном платье, в красной, опушенной горностаем кацавейке, с напудренными волосами и маленькой бриллиантовой диадемой на голове.

В первое мгновение она напомнила мне Екатерину II, и мне стало не по себе, но Ванда не дала мне времени задуматься — она привлекла меня к себе на оттоманку, и мы провели два блаженных часа. Теперь это была не строгая, своенравная повелительница, а только изящная дама, нежная возлюбленная.

Она показывала мне фотографии, вышедшие за последнее время книги и говорила со мной о них так умно, так интересно, так восхищала меня своим вкусом, что я не раз в восторге подносил к губам ее руку. Затем она попросила меня почитать стихотворения Лермонтова, и когда у меня совсем закружилась голова, она с нежной лаской положила свою ручку на мою руку — во всем лице ее, добром и ласковом, в кротком выражении глаз светилось тихое удовольствие — и спросила:

— Счастлив ты?

— Нет еще...

Она откинулась на подушки оттоманки и начала медленно расстегивать кацавейку.

Но я быстро снова прикрыл горностаем ее полуобнаженную грудь.

— Ты сводишь меня с ума... — пробормотал я запинаясь.

— Поди же ко мне.

Я лежал уже в ее объятьях, она целовала меня, как змея... Вдруг она снова прошептала:

— Счастлив ты?

— Бесконечно! — воскликнул я.

Она засмеялась. Это был резкий, злой смех, от которого меня пробрала дрожь.

— Прежде ты мечтал быть рабом, игрушкой красивой женщины, теперь ты воображаешь себя свободным человеком, мужчиной, моим возлюбленным... Глупец! Мне стоит бровью повести — и ты снова мой раб. На колени!

Я сполз с оттоманки к ее ногам — и, все еще не веря себе, устремил на нее глаза.

— Ты не можешь этого понять, — сказала она, глядя на меня со скрещенными на груди руками. — Я томлюсь от скуки, а ты так добр, что соглашаешься доставлять мне несколько часов развлечения. Не смотри на меня так...

Она толкнула меня ногой:

— Ты можешь быть всем, чем я захочу, — человеком, вещью, животным...

Она позвонила. Вошли негритянки.

— Свяжите ему руки за спиной.

Я остался на коленях и не противился. Затем они повели меня со связанными руками через весь сад до маленького виноградника, примыкавшего к нему с юга. Между рядами лоз виднелся маис, там и сям торчали еще редкие засохшие прутья. В стороне стоял плуг.

Негритянки привязали меня к шесту и забавлялись тем, что кололи меня своими золотыми булавками, вынутыми из волос. Прошло, однако, немного времени, — пришла Ванда в горностаевой шапочке на голове, заложив руки в карманы кофточки; она велела развязать меня, скрутить мне руки за спиной, надеть на шею ярмо и запрячь в плуг.

Затем ее черные ведьмы погнали меня на поле — одна из них вела плуг, другая правила мной с помощью веревки, третья погоняла меня хлыстом... Венера в мехах стояла в стороне и смотрела.

* * *

Когда я на другой день подавал ей обед, она сказала:

— Принеси еще прибор, я хочу, чтобы ты сегодня обедал со мной.

Когда я хотел сесть против нее, она сказала:

— Нет, садись поближе — совсем близко.

Она в наилучшем настроении своей ложкой дает мне суп из своей тарелки, кормит меня со своей вилки, как шаловливый котенок, ложится головкой на стол и кокетничает со мной.

По несчастной случайности, я засмотрелся на Гайдэ, подававшую мне блюда, возможно, несколько дольше, чем нужно: я как-то вдруг впервые обратил внимание на ее благородные, почти европейские черты лица, на прекрасный бюст — словно у статуи, изваянной из черного мрамора.

Заметив, что нравится мне, хорошенький чертенок улыбнулся, поблескивая белыми зубами. Едва она вышла из комнаты, Ванда вскочила, вся пылая гневом.

— Что же это! Ты смеешь при мне так смотреть на другую женщину! Очевидно, она нравится тебе больше, чем я, — она еще демоничнее...

Я испугался — такой я еще никогда ее не видел! Она вмиг вся побледнела — даже губы у нее стали белыми — и задрожала всем телом. Венера в мехах ревновала своего раба.

Сорвав с гвоздя хлыст, она начала стегать меня по лицу, а затем, позвав своих черных прислужниц, приказала им связать меня и стащить в погреб, где они бросили меня в темную, сырую подземную комнату — настоящую темницу.

Дверь захлопнулась, засов задвинулся, щелкнул запор.

Я заточен, погребен.

* * *

И вот я лежу — не знаю, сколько времени, — связанный, словно теленок, которого ведут на убой, на охапке влажной соломы, без

света, без пищи, без сна. Она способна оставить меня умереть голодной смертью — и оставит, если я еще раньше не замерзну. Меня всего трясет от холода. Или, быть может, это лихорадочный озноб? Мне кажется, я начинаю ненавидеть эту женщину.

* * *

Красная полоса, как кровь, протянулась на полу. Это свет свечи сквозь дверную щель. Вот и дверь отворилась.

На пороге показывается Ванда, закутанная в свои собольи меха, и освещает факелом мое подземелье.

— Ты еще жив? — спрашивает она.

— Ты пришла убить меня? — отвечаю я слабым, хриплым голосом.

Ванда стремительно делает два шага, подходит ко мне, опускается перед моим ложем на колени и кладет на колени мою голову.

— Ты болен? Как горят твои глаза... Любишь ли ты меня? Я хочу, чтобы ты любил меня!

Она вытаскивает короткий кинжал, клинок блестит перед моими глазами, — я содрогаюсь, думая, что она действительно хочет убить меня. Но она смеется и разрезает веревки, которыми я связан.

* * *

Теперь она велит мне приходить к ней каждый вечер после обеда, заставляет меня читать

ей вслух, говорит со мной о всевозможных увлекательных вещах и вопросах. И она совсем переменилась — держится так, как будто стыдится дикости, которую обнаружила, грубости, с которой обращалась со мной.

Трогательной кротостью просветлело все ее существо, и когда она на прощанье протягивает мне руку, глаза ее светятся той небесной добротой и любовью, которая исторгает у нас слезы из глаз, заставляет нас забыть все горести жизни и весь ужас смерти.

* * *

Я читаю ей «Манон Леско». Она чувствует, почему я это выбрал, — не говорит, правда, ни слова, однако время от времени улыбается и наконец захлопывает книжку.

— Вы не хотите больше читать, сударыня?

— Сегодня — нет. Сегодня мы сами разыграем Манон Леско. У меня назначено свидание в Cascade, и вы, мой милый рыцарь, проводите меня туда. Я знаю, вы это сделаете, не правда ли?

— Если прикажете...

— Я не приказываю, я прошу вас об этом, — говорит она с неотразимым очарованием; поднявшись, она положила руки мне на плечи и посмотрела на меня.

— Какие у тебя глаза! Я так люблю тебя, Северин... ты не знаешь, как люблю...

— Да, — говорю я с горечью, — так сильно, что назначаете свидание другому...

— Это я делаю только для того, чтобы привлечь тебя! — с живостью возразила она. — Я должна иметь поклонников, чтобы не потерять тебя... Я не хочу потерять тебя, — слышишь? — потому что люблю только тебя, одного тебя!

Она страстно прильнула к моим губам.

— О, если бы я могла, как хотела бы, отдать тебе всю мою душу в поцелуе... Вот... Ну, пойдем.

Она накинула простое черное бархатное пальто и надела на голову темный башлык.

— Григорий повезет меня, — говорит она кучеру, быстро пройдя галерею и садясь в коляску.

Кучер угрюмо отошел. Я сел на козлы и со злостью хлестнул лошадей.

* * *

В парке, там, где главная аллея превращается в ветвистую чащу, Ванда вышла из коляски. Уже наступила ночь, редкие звезды мерцали сквозь серые тучи, заволакивавшие небо. Мужчина в темном плаще и широкополой шляпе стоял на берегу Арно, глядя на желтые волны.

Ванда быстро отошла в сторону, через кустарники, и, подойдя к мужчине, хлопнула его по плечу. Я видел, как он обернулся, схватил ее руку... Затем они исчезли за зеленой стеной.

Мучительный час. Наконец из чащи послышался шепот; они вернулись.

Мужчина проводил ее до коляски. Свет фонаря ярко и резко осветил очень юное, нежное и мечтательное лицо, совершенно мне незнакомое, блеснув на длинных белокурых волосах.

Она протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал; затем она подала мне знак, и коляска вмиг покати­лась вдоль длинной аллеи, высившейся над рекой подобно стене, обитой зелеными обоями.

* * *

У садовой калитки позвонили. Знакомое лицо. Тот самый юноша.

— Как прикажете доложить? — спрашиваю я по-французски. Сконфузившись, посетитель отрицательно качает головой.

— Быть может, вы немножко понимаете по-немецки? — спрашивает он робко.

— Понимаю. Я осведомился о вашем имени.

— Ах, имени у меня еще нет, к сожалению, — отвечает он смущенно. — Скажите только вашей госпоже, что пришел немецкий художник из парка и просит... впрочем, вот она сама.

Ванда вышла на балкон и кивнула незнакомцу.

— Григорий, проводи господина ко мне, — крикнула она. Я проводил художника до лестницы.

— Благодарю вас, теперь я дойду сам. Очень вам благодарен.

И он побежал наверх. Я остался внизу и с глубоким состраданием смотрел вслед бедному немцу.

Венера в мехах запутала его душу в рыжих сетях своих волос. Он будет писать ее, и это сведет его с ума.

* * *

Солнечный зимний день, золотом играют на солнце трепетные листья деревьев, зеленая площадь луга. У подножия галереи в пышном уборе бутонов красуются камелии. Ванда сидит в галерее и рисует, а немец-художник стоит перед ней, сложив руки, как на молитве, и смотрит... нет, всматривается в ее лицо, как в забыты.

Но она этого не замечает. Не замечает она и меня, не видя, как я окапываю цветочные клумбы только для того, чтобы смотреть на нее, чтобы чувствовать ее близость, которая действует на меня как музыка, как стихи.

* * *

Художник ушел. Это рискованно, однако я дерзаю. Я подхожу к галерее, совсем близко к Ванде, и спрашиваю ее:

— Любишь ли ты художника, госпожа?

Она смотрит на меня без гнева, качает отрицательно головой, потом даже улыбается.

— Мне жаль его, — отвечает она, — но я его не люблю. Я никого не люблю. *Тебя я любила... так искренно, так страстно, так глубоко, как только способна была любить.* Но теперь я и тебя больше не люблю — мое сердце опустело, умерло, — и оттого мне так грустно...

— Ванда! — воскликнул я, болезненно задетый.

— Скоро и ты разлюбишь меня, — продолжала она. — Скажи мне, когда это произойдет, тогда я возвращу тебе свободу.

— В таком случае я на всю жизнь останусь твоим рабом, потому что я боготворю тебя и буду боготворить всегда! — воскликнул я в порыве фанатической любви.

Сколько раз губили меня такие порывы!

Ванда посмотрела на меня с удовлетворением.

— Подумай хорошенько, — сказала она. — Я беспредельно любила тебя и обращалась с тобой деспотически. Я хотела исполнить твою фантазию. Теперь еще трепещет во мне остаток того дивного чувства, в груди моей еще живет искреннее участие к тебе. Если исчезнет и оно, кто знает, освобожу ли я тебя тогда, не стану ли я тогда действительно жестокой, немилосердной, даже грубой?.. Когда я сделаюсь совсем равнодушна или полюблю другого, не будет ли это доставлять мне сатанинскую радость — мучить, пытаться человека, который меня идолопоклоннически боготворит, видеть его умирающим от любви ко мне?.. Обдумай хорошенько!

— Я все давно обдумал, — ответил я, весь горя, как в лихорадочном жару. — Я не могу жить, не могу существовать без тебя. Я умру, если ты вернешь мне свободу. Позволь мне быть твоим рабом, убей меня — только не отталкивай меня.

— Ну так будь же моим рабом! Не забывай, однако, что я уже не люблю тебя и что любовь твоя имеет теперь для меня не большую ценность, чем преданность собаки, а собак топчут ногами.

* * *

Сегодня я ходил смотреть на Венеру Медицинскую.

Было еще рано, маленький восьмиугольный зал музея Tribuna, словно храм, утопал в сумеречном свете, и я стоял, сложив руки, в глубоком благоговении перед немым образом богини.

Но я стоял недолго.

В галерее еще не было ни души, не было даже ни одного англичанина, и я стоял коленопреклоненный и смотрел на дивное стройное тело, на юную цветущую грудь, на девственное и сладострастное лицо с полузакрытыми глазами, на душистые локоны, как будто скрывающие с обеих сторон маленькие рога.

* * *

Звонок повелительницы.

Уже полдень. Но она еще в постели — лежит, скрестив руки на затылке.

— Я буду купаться, — говорит она, — и ты станешь прислуживать мне. Запри двери.

Я повиновался.

— Теперь поди вниз и посмотри, чтобы и внизу все было заперто.

Я спустился по витой лестнице, которая вела из ее спальни в ванную, ноги у меня подкашивались, я вынужден был держаться за перила.

Убедившись, что двери, ведущие в галерею и в сад, заперты, я вернулся. Ванда сидела на

кровати, с распущенными волосами, в своем зеленом бархатном меховом плаще. Она сделала быстрое движение, и я заметил, что, кроме плаща, на ней ничего не было. Сам не знаю почему, я страшно испугался — так приговоренный к смерти, зная, что идет на эшафот, начинает дрожать, увидев его.

— Поди сюда, Григорий, возьми меня на руки.

— Как, госпожа?

— Ну, понесешь меня! Чего ты тут не понимаешь?

Я поднял ее так, что она сидела у меня на руках, обхватив меня за шею. Спускаясь с ней по лестнице, медленно, со ступеньки на ступеньку, чувствуя время от времени ее волосы на своей щеке и прикосновение ее ноги к моему колену, я дрожал под своей дивной ношей и каждую минуту чувствовал, что готов упасть.

Ванная комната представляет собой обширную, высокую ротонду, освещенную мягким, спокойным светом, падающим сверху через красный стеклянный купол. Две пальмы простирают свои широкие листья, словно зеленую кровлю, над кушеткой для отдыха с подушками красного бархата; под ней ступеньки, устланные турецкими коврами, ведущие в обширный мраморный бассейн, занимающий середину комнаты.

— Наверху на моем ночном столике лежит зеленая лента, — сказала Ванда, когда я опускал ее на кушетку. — Принеси ее мне. Захвати также и хлыст.

Я взбежал вверх по лестнице и тотчас же вернулся, принеся то и другое. Опустившись на колени, я передал повелительнице ленту и хлыст, затем по ее приказанию собрал в большой узел и прикрепил зеленой бархатной лентой тяжелую наэлектризованную массу ее волос.

Затем я начал готовить ванну-бассейн, делая это весьма неловко, так как руки и ноги не повиновались мне. Каждый раз, когда я взглядывал на прекрасную женщину, лежавшую на красных бархатных подушках, и глаза мои останавливались на ее дивном теле, видневшемся местами из-под темного меха, — я делал это помимо воли, меня словно влекла какая-то магнетическая сила, — я осознавал, что будить чувственность и сладострастие способна только полубнаженная красота, пикантная полускрытая нагота. Еще живее я это ощутил, когда бассейн наконец наполнился и Ванда, одним движением сбросив с себя меховой плащ, предстала передо мной вся, как богиня в музее Tribuna.

В этот миг она показалась мне в своей прекрасной наготе такой целомудренной, такой священной, что я бросился перед ней, как тогда перед богиней, на колени и благоговейно припал губами к ее ноге.

Кровь, клокодавшая во мне только что буйными волнами, вмиг улеглась, потекла ровно, спокойно, и в эту минуту не было для меня в Ванде ничего жестокого.

Она медленно спускалась по ступенькам к бассейну, и я мог рассматривать ее всю с чув-

ством тихой радости, к которой не примешивалось ни капли муки, томления или страсти, — мог смотреть, как она то погружалась, то выныривала из кристально прозрачных струй и как волны, которые она сама производила, любовно плескались, ласкаясь льнули к ней.

Прав наш эстетик-нигилист: живое яблоко все же прекраснее нарисованного, и живая женщина — обаятельнее каменной Венеры.

Когда она затем вышла из ванны и по телу ее, облитому розовым светом, заструились серебристые капли, меня охватил немой восторг. Я накинул простыню, осушая дивное тело, — и меня не покидал этот восторг; то же спокойное блаженство не оставляло меня и когда она отдыхала, улегшись на подушки в своем широком бархатном плаще, и эластичный соболий мех жадно прильнул к ее холодному мраморному телу; нога ее опиралась на меня, как на подножную скамейку; левая рука, на которую она облокачивалась, покоилась, словно спящий лебедь, среди темного меха, а правая небрежно играла хлыстом.

Случайно взгляд мой скользнул по массивному зеркалу, вделанному в противоположную стену, и я невольно вскрикнул, увидев в золотой раме, как на картине, ее и себя, — и картина эта была так дивно прекрасна, так изумительно фантастична, что меня охватила глубокая грусть при мысли о том, что ее линии и краски не запечатлены и должны будут рассеяться как туман.

— Что с тобой? — спросила Ванда.

Я указал рукой на зеркало.

— Ах, это в самом деле дивно! — воскликнула и она. — Жаль, что невозможно закрепить это мгновенье.

— Почему же невозможно? Разве не будет гордиться всякий художник, хотя бы и самый знаменитый, если ты ему позволишь увековечить тебя своей кистью?

— Мысль о том, что эта необычайная красота, — продолжал я, восторженно рассматривая ее, — эта очаровательная головка, эти изумительные глаза с их зеленым огнем, эти демонические волосы, это великолепное тело должны погибнуть для света, — эта мысль для меня ужасна, она наполняет мне душу ужасом смерти, разрушения, уничтожения.

Рука художника должна вырвать тебя из ее власти, ты не должна, как другие, погибнуть совсем и навеки, не оставив и следа своего существования; твой образ должен жить и тогда, когда сама ты давно уже превратишься в прах, твоя красота должна восторжествовать над смертью!

Ванда улыбнулась.

— Жаль, что в современной Италии нет Тициана или Рафаэля, — сказала она. — Впрочем, быть может, любовь может заменить гений... Кто знает, не мог ли бы наш юный немец?..

Она призадумалась.

— Да, пусть он напишет меня... А я уж позабочусь о том, чтоб Амур мешал ему краски.

Молодой художник устроил свою мастерскую в вилле. Он попался в ее сети.

И вот он начал писать мадонну — мадонну с рыжими волосами и зелеными глазами! Создать из этой породистой женщины образ девственности — на это способен только немец в своем идеализме.

Бедняга в самом деле оказался еще бóльшим ослом, чем я. И, к несчастью, наша Титания *слишком скоро* разглядела наши ослиные уши.

И вот она смеется над нами... И как смеется! Я слышу ее веселый, мелодичный смех, звучащий в его мастерской, под окном которой я стою, ревниво прислушиваясь.

— В уме ли вы! Меня... ах, это невероятно! Меня в образе Пресвятой Девы! — воскликнула она и снова засмеялась. — Погодите-ка, я покажу вам другой мой портрет — портрет, который я написала сама. Вы должны его скопировать.

В окне мелькнула ее голова, полыхнув на солнце огнем.

— Григорий!

Я взбегаю по лестнице мимо галереи в мастерскую.

— Проводи его в ванную, — приказала мне Ванда, сама же поспешно выбежав.

Через несколько секунд она спустилась с лестницы, одетая лишь в соболий плащ, с хлыстом в руке — и раскинулась, как в тот раз, на бархатных

подушках. Я лег у ног ее, и она поставила на меня свою ногу, правая рука ее играла хлыстом.

— Посмотри на меня, — сказала она мне, — своим глубоким фанатическим взглядом... вот так... так, хорошо...

Художник страшно побледнел. Он пожирал эту сцену своими прекрасными, мечтательными голубыми глазами, губы его шевельнулись, раскрылись, но не издали ни звука.

— Ну, нравится вам эта картина?

— Да... Такой я напишу вас... — проговорил немец. В сущности, это были не слова, а красноречивый стон, рыдание больной, смертельно больной души.

* * *

Рисунок углем окончен, набросаны головы, тела. В нескольких смелых штрихах уже вырисовывается ее дьявольский облик, в зеленых глазах сверкает жизнь.

Ванда стоит перед полотном, сложив на груди руки.

— Картина будет, как большинство картин венецианской школы, портретом и историей в одно и то же время, — объясняет художник, снова побледнев как смерть.

— А как вы назовете ее? — спросила она. — Но что это с вами? Вы больны?

— Мне страшно... — сказал он, с выражением муки в глазах глядя на красавицу в мехах. — Будемте, однако, говорить о картине.

— Да, будем говорить о картине.

— Я представляю себе богиню любви, снизошедшую с Олимпа к смертному на нынешнюю холодную землю. Она зябнет здесь и старается согреть свое величественное тело в мехах, а зябнувшие ноги — на теле возлюбленного. Я представляю себе фаворита прекрасной деспотической владительницы, которая стегает раба хлыстом, устав целовать его, а тот тем безумнее любит ее, чем больше она попирает его ногами... Вот это я себе представляю и назову картину «Венера в мехах».

* * *

Художник пишет медленно. Но тем быстрее растет его страсть. Боюсь, он кончит тем, что лишит себя жизни. Она играет им, задает ему загадки, а он не может их разрешить и чувствует, что кровь его сочится... а она всем этим забавляется.

Во время сеанса она лакомится конфетами, скатывает из бумажек шарики и бросает в него.

— Мне приятно, что вы так хорошо настроены, сударыня, — говорит художник, — но ваше лицо совершенно потеряло то выражение, которое мне нужно для картины.

— То выражение, которое вам нужно для картины? — повторяет она, улыбаясь. — Потерпите минутку...

Она выпрямляется во весь рост и наносит мне удар хлыстом. Художник в оцепенении смотрит на нее, лицо его выражает детское изумление, смешанное с ужасом и обожанием.

И с каждым наносимым мне ударом на лице Ванды все больше и больше проступало то

жестокое и издевательское выражение, которое приводит меня в жуткий восторг.

— Теперь у меня то лицо, которое нужно для вашей картины?

Художник в смятении опускает глаза перед холодным, стальным блеском ее глаз.

— Выражение то... — пролепетал он, запинаясь, — но я не могу писать теперь...

— Почему? — насмешливо спрашивает Ванда. — Быть может, я могу вам помочь?

— Да! — крикнул он как безумный. — Ударьте и меня!

— О, с удовольствием! — говорит она, пожимая плечами. — Но если я хлестну, то по-настоящему.

— Засеките меня насмерть!

— Так вы позволите мне связать вас? — улыбаясь, спрашивает Ванда.

— Да... — простонал он.

Ванда вышла на минуту и вернулась с веревками в руках.

— Ну-с... вы не раздумали? Решаетесь отдаться всецело на гнев и на милость Венеры в мехах, прекрасной женщины-деспота? — насмешливо произнесла она.

— Вяжите меня... — глухо ответил художник.

Ванда связала ему руки за спиной, продела одну веревку под руки, другую накинула на талию и привязала его так к оконной перекладине, потом откинула плащ, взяла хлыст и подошла к нему.

Для меня эта сцена была полна невыразимого, страшного очарования... Я чувствовал гул-

кие удары своего сердца, когда она со смехом вытянула руку для первого удара, замахнулась; хлыст со свистом рассек воздух, и юный художник слегка вздрогнул под ударом, и потом, когда она с полураскрытым ртом, — так, что зубы ее сверкали из-за красных губ, — наносила удар за ударом, он смотрел на нее своими трогательными голубыми глазами, словно моля о пощаде... Я не в силах описать это.

* * *

Теперь она позирует одна. Он работает над ее головой.

Меня она поместила в соседней комнате за тяжелой дверной портьерой, откуда меня не было видно, но я видел все.

Что же она делает?..

Бойтся ли она его? Свела ли она его уже совсем с ума? Или все это задумано как новая пытка для меня?

У меня дрожат колени.

Они беседуют. Он так сильно понизил голос, что я ничего не могу разобрать... она отвечает так же...

Что же это значит? Нет ли между ними какого-то соглашения?

Я страдаю ужасно, невыразимо — мое сердце вот-вот разорвется.

Он становится перед ней на колени, обнимает ее, прижимает голову к ее груди... а она... жестокая... она смеется... я слышу, как она говорит громко:

— Ах, вам опять нужен хлыст!..

— Красавица моя... моя богиня! — восклицает юноша. — Неужели у тебя совсем нет сердца? Неужели ты совсем не умеешь любить? Не знаешь, что значит любить, изнемогать от томления, от страсти... Неужели ты и представить себе не можешь, как я страдаю? Неужели нет в тебе совсем жалости ко мне?

— Нет! — гордо и насмешливо отвечает она. — Есть только хлыст.

Она быстро вытаскивает его из кармана своего плаща и наносит ему рукояткой удар в лицо.

Он выпрямляется и отступает от нее на несколько шагов.

— Теперь вы уже можете писать? — равнодушно спрашивает она. Он ничего не отвечает, молча вновь подходит к мольберту и берется за кисти и палитру.

Она изумительно удачно вышла. Это портрет, положительно несравненный по сходству, в то же время как будто идеальный образ — так знойны, так сверхъестественны, я сказал бы, так дьявольски жгучи краски.

Художник вложил в картину все свои муки, свое обожание и свое проклятие.

* * *

Теперь он пишет меня. Мы проводим ежедневно по нескольку часов наедине.

Сегодня он вдруг обратился ко мне своим вибрирующим голосом:

— Вы любите эту женщину?

— Да.

— Я тоже люблю ее.

Слезы залили ему глаза. Некоторое время он молча продолжал писать.

— У нас в Германии есть гора, — пробормотал он потом про себя, — в которой она живет. Она ведьма.

* * *

Картина готова.

Она хотела заплатить за нее щедро, по-царски. Он отказался.

— О, вы уже мне заплатили, — сказал он со страдальческой улыбкой.

Перед своим уходом он таинственно приоткрыл свою папку и дал мне заглянуть. Я испугался. Ее голова взглянула на меня совершенно как живая — словно из зеркала.

— Ее я унесу с собой, — сказал он. — Это — мое, этого она не может отнять у меня, я ее тяжко заслужил.

* * *

— В сущности, мне даже жаль бедного художника, — сказала она мне сегодня. — Глупо и смешно быть такой добродетельной, как я. Ты этого не находишь?

Я не посмел ответить ей.

— Ах, я забыла, что говорю с рабом... Я хочу выехать, хочу рассеяться, забыться. Коляску, живо!

Новый фантастический туалет: русские полусапожки из фиолетового бархата с горностаевой опушкой, фиолетовое же бархатное платье, подхваченное и подбитое горностаем, соответствующее коротенькое пальто, плотно прилегающее и так же богато подбитое и отделанное горностаем, высокая горностаевая шапка, приколотая бриллиантовым аграфом на распущенных по спине рыжих волосах.

В таком наряде она садится на козлы и правит сама, я сажусь позади нее. Как она хлещет лошадей! Они мчатся как бешеные.

Сегодня она, видимо, стремится произвести впечатление, покорять сердца. И это ей вполне удастся. Сегодня она — львица Cascade. Из экипажей ей то и дело кланяются, на тротуарах толпятся группами, разговаривая о ней. Но она ни на кого не обращает внимания, изредка только отвечает легким кивком головы на поклоны кавалеров постарше.

Навстречу нам на стройном горячем коне скачет молодой человек; увидев Ванду, он сдерживает коня и пускает его шагом; вот он уже совсем близко... осаживает лошадь, пропускает Ванду вперед... в эту минуту и она замечает его, львица — льва. Глаза их встречаются... и, промчавшись мимо него, она, не в силах противиться его магической власти, поворачивает голову назад, глядя ему вслед.

У меня замирает сердце, когда я перехватываю этот полуизумленный, полувосхищенный взгляд, которым она окидывает его, — но он этого заслуживает.

Это и в самом деле очень красивый мужчина. Даже более того. Живым, во плоти такого мужчины я еще никогда не видел. В Бельведере он стоит высеченный из мрамора — с той же гармоничной и в то же время твердой мускулатурой, с тем же лицом, с теми же развевающимися кудрями и — что придает ему такую своеобразную красоту — совсем без бороды.

Если бы не узкие бедра, его можно было бы принять за переодетую женщину, а странная складка вокруг рта, львиная губа, из-под которой виднеются зубы, придает всему лицу мимолетное выражение жестокости.

Аполлон, сдирающий кожу с Марсия...

На нем высокие черные сапоги, узкие рейтузы из белой кожи, короткая меховая куртка — вроде тех, которые носят итальянские офицеры-кавалеристы, — из черного сукна с каракулевой опушкой и отделкой из шнурков; на черных кудрях красная феска.

В эту минуту я понял мужской эрос и удивился бы, если бы Сократ остался добродетельным перед подобным Алкивиадом.

* * *

В таком возбуждении я еще никогда не видал мою львицу. Щеки ее пылали, когда она, соскочив с коня перед подъездом своей виллы,

быстро начала подниматься по лестнице, знаком приказав мне следовать за ней.

Расшагивая крупными шагами взад и вперед по своей комнате, она заговорила с такой нервностью, которая меня испугала:

— Ты узнаешь, кто был тот всадник, которого мы встретили в парке, — сегодня же, сейчас же. О, что за мужчина! Ты его видел? Каков? Говори!

— Он красив, — глухо ответил я.

— Он так хорош... — она умолкла и оперлась на спинку кресла, — что у меня дух захватило...

— Я понимаю, какое впечатление он должен был произвести на тебя... — Говоря это, я ощутил, как моя фантазия вновь закружила меня бешеным вихрем. — Я сам был вне себя и могу себе представить...

— Можешь себе представить, что этот человек — мой возлюбленный и что он бьет тебя хлыстом... и для тебя наслаждение — принимать удары от него... Теперь ступай... Ступай!

* * *

Еще до наступления вечера я навел о нем справки.

Ванда была еще в полном туалете, когда я вернулся. Она лежала на оттоманке, закрыв лицо руками, ее спутанные волосы были подобны рыжей львиной гриве.

— Как его зовут? — спросила она со зловещим спокойствием.

— Алексей Пападополис.

— Значит, грек?

Я кивнул головой.

— Он очень молод?

— Едва ли старше тебя. Говорят, он получил образование в Париже и слывет атеистом. Он сражался с турками на Крите и, говорят, отличился там своей расовой ненавистью и жестокостью не меньше, чем храбростью.

— Словом, мужчина во всех отношениях! — воскликнула она.

— В настоящее время он живет во Флоренции, — продолжал я, — говорят, у него огромное состояние...

— Об этом я не спрашивала, — быстро и резко перебила она. — Он опасен, — снова заговорила она после паузы. — Ты боишься его? Я его боюсь. Есть у него жена?

— Нет.

— Возлюбленная?

— Тоже нет.

— В каком театре он бывает?

— Сегодня он в театре Николини, где играют гениальная Вирджиния Марини и Сальвини, величайший из современных артистов в Италии, быть может во всей Европе.

— Ступай достань лужу... Живо! Живо!

— Но, госпожа...

— Хочешь отведать хлыста?

* * *

— Можешь подождать в партере, — сказала она мне, когда я положил ее бинокль и афишу

на барьер ложи и пододвинул скамейку ей под ноги.

И вот я стою, прислонившись к стене, чтобы не свалиться с ног — от зависти, от ярости... нет, ярость — неподходящее слово... от смертельной тревоги.

Я вижу ее в ложе в голубом муаровом платье, с широким горностаевым плащом на обнаженных плечах и напротив нее — его. Я вижу, как они пожирают друг друга глазами, как для них обоих не существует ни сцена, ни Памела Гольдони, ни Сальвини, ни Марини, ни публика, ни весь мир...

А я... Что такое я в эту минуту?

* * *

Сегодня она едет на бал в греческое посольство. Рассчитывает встретить его там.

Оделась она, по крайней мере, с этим расчетом. Тяжелое светло-зеленое шелковое платье цвета морской воды повторяет ее божественные формы, оставляя обнаженными грудь и руки. В волосах, собранных в один-единственный огненный узел, цветет белая водяная лилия, и зеленые водоросли спускаются вдоль спины, перемешанные с несколькими свободными прядями волос.

В ней не осталось ни тени прежнего волнения, лихорадочного трепета; она спокойна, — так спокойна, что у меня кровь стынет, когда я гляжу на нее, и сердце холодеет под ее взглядом.

Медлительно, величаво, устало-лениво подымается она по мраморным ступеням, сбрасы-

вает свой драгоценный покров и небрежно входит в зал, полный серебристого тумана от дыма сотен свечей.

Как потерянный смотрю я несколько минут ей вслед, потом подымаю ее плащ, выскользнувший у меня из рук так, что я этого и не заметил. Он еще сохраняет теплоту ее плеч.

Я целую это место, глаза мои наполняются слезами.

* * *

Вот и он. В черном бархатном камзоле, богато, до расточительности, опушенном темным соболем. Это красивый, высокомерный деспот, привыкший играть человеческой жизнью, человеческой душой.

Он останавливается в вестибюле, гордо озирается вокруг и останавливает на мне зловеще-долгий взгляд.

И под его ледяным взглядом меня снова охватывает та же страшная, смертельная тревога — предчувствие, что этот человек может ее увлечь, приковать, покорить себе... и чувство стыда перед его неустрашимым, диким мужеством — чувство зависти, ревности...

И что всего позорнее: я хотел бы ненавидеть его — и не могу.

Каким образом и он заметил меня — именно меня, среди целой толпы слуг?

Он подзывает меня кивком — неподражаемо благородное движение головой! — и я... против

собственной воли повинуюсь его повелительному знаку.

— Сними с меня шубу, — спокойно приказывает он.

Я дрожу всем телом от негодования, но повинуюсь — смиренно, как раб.

Всю ночь я сижу и жду в передней и брежу как в лихорадке. Странные образы и картины проносятся перед моим внутренним взором...

Я вижу, как они встречаются, вижу первый долгий взгляд... вижу, как она кружится по зале в его объятиях, склонившись в упоении к нему на грудь с полузакрытыми глазами... Я вижу его в святилище любви лежащим на оттоманке, не в качестве раба — в качестве господина... вижу ее у его ног, себя на коленях, прислуживающим ему... вижу, как задрожал чайный поднос в моей руке и как он схватился за хлыст...

Вдруг слышу, слуги говорят о нем.

Он странный мужчина, похожий на женщину; он знает, что он хорош, и держится соответственно этому; меняет по четыре, по пять раз в день кокетливый туалет — словно тщеславная куртизанка.

В Париже он появился вначале в женском платье, и мужчины засыпали его любовными письмами. Один знаменитый итальянский певец, известный своим талантом столько же, сколько своей страстностью, ворвался даже в его квартиру и грозился лишиться себя жизни, если не добьется благосклонности.

— Мне очень жаль, — ответил он с улыбкой, — я был бы рад подарить вам свою благосклонность, но мне ничего другого не остается, как исполнить ваш смертный приговор, потому что я... мужчина.

* * *

Зал уже заметно опустел, но она, по-видимому, еще совсем не думает собираться.

Сквозь опущенные жалюзи уже забрезжило утро.

Наконец-то прошелестел ее тяжелый шелк, струящийся за ней потоком зеленых волн. Медленно, шаг за шагом, подходит она, разговаривая с ним на ходу.

В эту минуту я не существую для нее, она не дает себе труда даже приказать мне что-нибудь.

— Плащ для мадам, — приказывает он, даже и не подумав помочь ей сам.

Пока я надеваю на нее плащ, он стоит рядом скрестив руки. А она, в то время как я, стоя на коленях, надеваю ей меховые ботинки, опирается слегка о его плечо и спрашивает:

— Так что вы говорили о нраве львицы?

— Когда на льва, которого она избрала, с которым она живет, нападает другой, — продолжил свой рассказ грек, — львица спокойно ложится наземь и созерцает борьбу, и если ее супруг терпит поражение, она не приходит ему на помощь — она равнодушно смотрит, как он истекает кровью в когтях своего противника, и

следует за победителем, за сильнейшим. Такова природа женщины.

В эту минуту моя львица окинула меня быстрым и странным взглядом.

Дрожь пробежала по всему моему телу, сам не знаю почему, а красная заря обдала меня, и ее, и его словно кровавым потоком.

* * *

Спать она не легла; она только сбросила бальный туалет и распустила волосы, потом приказала мне затопить камин и села перед ним, недвижно глядя на огонь.

— Нужен ли я тебе еще, госпожа? — спросил я, и голос мой дрогнул, когда я с усилием произнес последнее слово.

Ванда отрицательно покачала головой.

Я вышел из спальни, прошел через галерею и опустился на ступени лестницы, ведущей из нее в сад. Легкий северный ветер нес с Арно свежую, влажную прохладу, вдали в розовом тумане высились зеленые холмы, золотой пар струился над городом, над круглым куполом собора.

На бледно-голубом небе еще мерцали одинокие звезды.

Я порывисто расстегнул куртку и прижался пылающим лбом к мрамору. Ребяческой игрой показалось мне в эту минуту все, что было до сих пор. Теперь начиналось нечто серьезное, и страшно серьезное.

Я предчувствовал катастрофу — я как будто уже видел ее перед собой, мог схватить ее

руками, но у меня не хватало духу встретиться с ней лицом к лицу, мои силы были надломлены.

Если быть искренним, — меня пугали не муки, не страдания, которые могли обрушиться на меня, не унижения и оскорбления, которые могли ожидать меня.

Я страшился только одного — потерять ее, ту, которую я фанатически любил; и страх этот был так ужасен, так чудовищен, что я вдруг разрыдался, как дитя.

* * *

Весь день она оставалась, запершись, в своей комнате, и прислуживала ей негритянка.

Когда в голубом эфире засверкала вечерняя звезда, я увидел, как она прошла через сад, и, осторожно следуя за ней издали, заметил, что она вошла в храм Венеры.

Прокравшись за ней, я заглянул в дверную щель.

Она стояла перед величавым образом богини, сложив руки, как для молитвы, и священный свет звезды любви лил на нее свои голубые лучи.

* * *

Ночью, когда я валялся на своем ложе, меня охватил такой страх, что я могу потерять ее, отчаяние овладело мною с такой силой, что сделало меня героем. Я зажег маленькую красную масляную лампочку, висевшую перед об-

разом в коридоре, и вошел, заслоняя свет рукой, в ее спальню.

Львица, выбившаяся из сил, затравленная, загнанная насмерть, уснула на своих подушках. Она лежала на спине, сжав кулаки, и тяжело дышала. Казалось, ее тревожили сны. Медленно отвел я руку, которой заслонял свет, и осветил ее дивное лицо ярким красным светом.

Но она не проснулась.

Осторожно поставив лампу на пол, я опустился на колени перед кроватью Ванды и положил голову на ее мягкую пылающую руку.

Она слегка пошевелинулась, но не проснулась и теперь.

Сколько времени я пролежал так в ночи, окаменев от страшных мучений, — не знаю.

Наконец меня охватила сильная дрожь — явились благодетельные слезы. Я плакал, и слезы текли по ее руке. Вздвогнув несколько раз, она наконец проснулась, провела рукой по глазам и посмотрела на меня.

— Северин! — воскликнула она скорее с испугом, чем с гневом. Я не в силах был откликнуться.

— Северин! — тихо позвала она снова. — Что с тобой? Ты болен?

В ее голосе звучало столько участия, столько доброты, столько ласки, что меня схватило за сердце, словно раскаленными щипцами, и я громко зарыдал.

— Северин, — проговорила она снова, — бедный мой, бедный мой друг! — Она ласково про-

вела рукой по моим кудрям. — Мне жаль, страшно жаль тебя, но я ничем не могу помочь тебе... При всем горячем желании я не могу придумать лекарства для тебя!

— О Ванда, неужели это неизбежно? — мучительным стоном вырвалось у меня.

— Что, Северин? О чем ты?

— Неужели ты совсем меня больше не любишь? Неужели у тебя не осталось и капли сострадания ко мне? Так овладел твоей душой этот чужой красавец?

— Я не хочу лгать тебе, — мягко заговорила она после небольшой паузы, — он произвел на меня такое впечатление, от которого я не в силах отделаться, от которого я сама страдаю и трепещу... такое впечатление, о котором мне только случилось читать у поэтов, видеть на сцене, но которое казалось мне до сих пор плодом фантазии...

О, этот человек — настоящий лев, сильный, прекрасный и гордый — и все же мягкий, не грубый, как наши северные мужчины. Мне жаль, мне больно за тебя, — поверь мне, Северин! — но он должен быть моим... ах, не то я говорю! — я должна ему отдаться, если он захочет взять меня...

— Подумай же о своей чести, Ванда, если я уж ничего для тебя не значу! Она была незапятнанной до сих пор...

— Я думаю об этом. Я хочу быть сильна, пока я в состоянии, я хочу... — Она смущенно зарылась лицом в подушки. — Я хочу... стать его женой... если он этого захочет.

— Ванда! — крикнул я, вновь охваченный смертельной тревогой, от которой у меня перехватывало дыхание и затуманило голову. — Ты хочешь стать его женой, хочешь принадлежать ему навеки! О Ванда, не отталкивай меня от себя! Ванда, он не любит тебя...

— Кто сказал тебе это! — воскликнула она, вся вспыхнув.

— Он не любит тебя! — страстно повторил я. — А я люблю, я боготворю тебя, я — твой раб, я хочу, чтобы ты топтала меня ногами, — на руках своих я хочу пронести тебя через всю жизнь...

— Кто сказал тебе, что он меня не любит?! — нервно перебила она.

— О, будь моей, — молил я, — ведь я не могу больше жить, существовать без тебя! Пожа-лей же меня, Ванда!

Она подняла глаза — теперь это был снова знакомый холодный, бессердечный взгляд, знакомая злая улыбка.

— Ты ведь сказал, что он меня не любит! — насмешливо сказала она. — Ну и отлично, утешься же этим.

И, сказав это, она повернулась спиной ко мне.

— Боже мой, разве же ты не живой человек из плоти и крови! Разве нет у тебя сердца, как у меня! — с усилием вырвалось восклицание из моей судорожно сжатой груди.

— Ты же знаешь, — злобно ответила она, — я ведь из камня... «Венера в мехах», твой идеал... Так преклони колена и молись на меня!

— Ванда... хоть каплю жалости!..

Она засмеялась. Я припал лицом к ее подушкам, слезы, в которых изливались мои муки, хлынули у меня из глаз.

Долго все было тихо, потом Ванда медленно приподнялась.

— Ты мне надоел!

— Ванда!

— Я спать хочу, ты мне мешаешь... дай мне уснуть.

— Пожалей меня, Ванда, не отталкивай меня... Никто, никто и никогда не будет любить тебя так, как я...

— Не мешай мне спать, — проговорила она, снова повернувшись ко мне спиной.

Вскочив, я сорвал со стены висевший рядом с ее кроватью кинжал и приставил его к своей груди.

— Я убью себя здесь, на твоих глазах... — глухо пробормотал я.

— Делай что хочешь... — с совершенным равнодушием ответила она, — только не мешай мне спать.

Она громко зевнула.

— Мне очень хочется спать.

На мгновение я окаменел... Потом расхохотался и вновь зарыдал — наконец, заткнув кинжал за пояс, опять бросился перед ней на колени.

— Ванда... выслушай меня только... только несколько минут еще...

— Я спать хочу, ты слышал?! — гневно крикнула она и, вскочив с постели, оттолкнула

меня ногой. — Ты, кажется, забыл, что я твоя госпожа?

Я не трогался с места.

Тогда она схватила хлыст и ударила меня. Я поднялся. Она еще раз нанесла удар — на этот раз в лицо.

— Послушай... раб!

Воздев руки к небу, сжав кулаки в порыве внезапной решимости, я вышел из ее спальни.

Она отшвырнула хлыст и разразилась громким смехом.

Да, я представляю, насколько был смешон со своими театральными жестами.

* * *

Решившись избавиться от этой бессердечной женщины, которая была так жестока со мной и теперь, в награду за все мое рабское обожание, за все, что я терпел от нее, готова коварно изменить мне, — я складываю в узел свои скудные пожитки и сажусь за письмо к ней.

«Милостивая государыня!

Я любил Вас как безумный, я отдался Вам душой и телом, так, как никогда еще мужчина не отдавался женщине, а Вы глумились над моими священнейшими чувствами и недостойно, легкомысленно, постыдно играли мной.

Но пока Вы были только жестоки и безжалостны, я все же мог еще любить Вас. Теперь же Вы становитесь изменны, *пошлы*. И я не раб Ваш более — Вам более не топтать меня

ногами и не хлестать хлыстом. Вы сами меня освободили — я ухожу от женщины, которую могу теперь только ненавидеть и *презирать*.

Северин Кузимский».

Эти несколько строк я передаю негритянке и бегу, так быстро, как только могу. Запыхавшись, без сил прибегаю я на вокзал — вдруг чувствую страшный укол в сердце... Я останавливаюсь и разражаюсь рыданиями... О позор, позор! Я хочу бежать — и не могу!

Я возвращаюсь... куда? — к ней!.. к той, которую я презираю и боготворю в одно и то же время.

Но что же это я делаю? Я не могу вернуться, я не должен возвращаться!

Как же я, однако, уеду из Флоренции? Я вспоминаю, что у меня совсем нет денег, ни гроша.

Ну что ж! Пешком! Милостыню просить честнее, лучше, чем есть хлеб куртизанки!

Но ведь я не могу же уехать: я дал ей слово, честное слово...

Я должен вернуться — быть может, она вернет мне слово.

Пробежав несколько шагов, снова останавливаюсь. Я дал ей честное слово, поклялся, что буду ее рабом, пока она этого хочет, пока она сама не дарует мне свободу. Да! Но ведь покончить с собой я могу!

Пройдя городской парк, я спускаюсь к Арно, иду берегом вниз по течению — далеко, далеко, туда, где желтые воды ее с однообразным

плеском омывают заброшенные луга. Там я сажусь, чтобы свести последние счета с жизнью. Перебрав в памяти всю свою жизнь, я нахожу, что она была весьма бедной и жалкой. Редкие радостные мгновения, бесконечно много бесцветного, вздорного, неинтересного... в промежутках бездна страданий, горя, тоски, разочарований, погибших надежд, досады, забот и печали.

Мне вспомнилась моя мать, которую я сильно любил и видел умирающей от ужасной болезни... Вспомнился брат с его жадной наслаждения и счастья, умерший в расцвете молодости, даже не пригубив из кубка жизни...

Я вспомнил свою умершую кормилицу, товарищей детских игр, друзей юности, с которыми вместе учился, делил стремления, надежды, планы, — всех, кого прикрыла холодная, мертвая, равнодушная земля. Вспомнился мне мой голубь-турман, часто ворковавший и заигрывавший со мной вместо своей подруги... Всё прах, во прах обратившийся.

Громко засмеявшись, я скользнул в воду, но в ту же минуту крепко уцепился за ивовый прут, висевший над желтой водой. Перед моими глазами встала женщина, погубившая меня.

Она несется над зеркальной поверхностью реки, вся освещенная солнцем, словно прозрачная... огненные пряди горят вокруг головы и над затылком... она поворачивается лицом ко мне и улыбается...

И вот я снова здесь, насквозь промокший; вода струится с меня ручьями; я весь горю от стыда и лихорадочного жара. Негритянка передала мое письмо... Я обречен, погиб — я весь во власти бессердечной, оскорбленной женщины.

Ну пусть она убьет меня! Сам я не могу — но жить далее не хочу.

Хожу вокруг дома, вижу ее... Она стоит в галерее, перегнувшись через барьер, лицо ярко освещено солнцем, зеленые глаза сверкают.

— Ты еще жив? — спрашивает она, не шевельнувшись.

Я стою, безмолвно уронив голову на грудь.

— Отдай мне мой кинжал, он тебе не понадобится. У тебя даже не хватает мужества лишить себя жизни.

— У меня его нет, — говорю я, весь дрожа, сотрясаемый ознобом.

Она бегло окидывает меня надменным, насмешливым взглядом.

— Вероятно, уронил его в Арно? Ну и пусть. — Она пожимает плечами. — Отчего же ты не уехал?

Я что-то пробормотал, чего ни она, ни сам я не могли разобрать.

— Ах, у тебя денег нет? На! — И невыразительно пренебрежительным жестом она швырнула мне свой кошелек.

Я не поднял его. Долго молчали мы оба.

— Итак, ты не хочешь уехать?

— Не могу.

* * *

Ванда едет кататься в парк без меня, бывает в театре без меня, принимает гостей, негритянка прислуживает ей. Никто не зовет меня. Я слоняюсь без цели по саду, как собака, отбившаяся от хозяина.

Лежу в кустах, смотрю на двух воробьев, дерущихся из-за зерна.

Вдруг слышу шелест женского платья.

Ванда проходит совсем рядом со мной, в темном шелковом платье, целомудренно глухом до самого подбородка. С нею грек. Они оживленно разговаривают, но я не могу разобрать ни слова. Вот он топнул ногой так, что гравий полетел во все стороны, и взмахнул хлыстом. Ванда вздрогнула.

Не боится ли она, что он ее ударит?

Так далеко у них зашло?

* * *

Он ушел, она зовет его, он не слышит ее, не хочет слышать.

Печально поникнув головой, Ванда опустилась на ближайшую каменную скамью. Долго сидит она, погруженная в думы. Я смотрю на нее почти со злорадством, наконец заставляю себя вскочить и с насмешливым видом подхожу к ней. Она вскакивает, дрожа всем телом.

— Я пришел только затем, чтобы поздравить вас и пожелать вам счастья... — говорю я

с поклоном. — Я вижу, сударыня, вы нашли себе господина...

— Да, слава богу! Не нового раба — довольно с меня их! — господина! Женщине нужен господин, его она может боготворить.

— И ты боготворишь его! — воскликнул я. — Этого грубого человека!

— Я люблю его так, как еще никого никогда не любила!

— Ванда! — вскричал я, сжав кулаки.

Но тотчас же на глазах у меня выступили слезы. Порыв страсти, сладостное безумие охватило меня.

— Хорошо... выбери его, возьми его в супруги, пусть он будет господином твоим... Пусть! Но я, покуда жив, хочу остаться твоим рабом...

— Ты хочешь быть моим рабом — даже в таком случае? Что ж, это было бы пикантно. Боюсь только, что он этого не потерпит.

— Он?

— Да, он уже и теперь ревнует к тебе, — воскликнула она, — он — к тебе! Он требовал, чтобы я немедленно отпустила тебя, и когда я сказала ему, кто ты...

— Ты сказала ему... — в оцепенении повторил я.

— Я все ему сказала! Рассказала всю историю наших отношений — все странности твои, все... и он... вместо того чтобы расхохотаться, рассердился... топнул ногой...

— И пригрозил ударить тебя?

Ванда молчала, глядя в землю.

— Да, да, Ванда, — воскликнул я с горькой насмешкой, — ты боишься его!

Бросившись перед ней на колени, я заговорил взволнованно, обнимая ее колени:

— Ведь я ничего от тебя не хочу, ничего! Только быть всегда вблизи тебя, твоим рабом... твоей собакой!..

— Знаешь, ты надоел мне... — апатично проговорила Ванда. Я вскочил. Во мне разгорелось возмущение.

— Это уже не жестокость, это — низость, пошлость! — сказал я, отчетливо и резко отчеканивая каждое слово.

— Все это вы сказали в своем письме, — надменно отрезала она, с гордым пожатием плеч. — Умному человеку не следует повторяться.

— Как ты со мной обращаешься! — не выдержал я. — Как назвать твое поведение?!

— Я могла бы отхлестать тебя, — насмешливо протянула она. — Но на этот раз я предпочитаю ответить тебе не ударами хлыста, а словами убеждения.

Ты не имеешь никакого права обвинять меня в чем-либо. Разве не была я всегда искренна с тобой? Не предостерегала ли я тебя неоднократно? Не любила ли я тебя глубоко, страстно? Разве я скрывала от тебя, что отдаваться мне так, так унижать себя предо мной опасно, — что я хочу сама покоряться? Но ты хотел быть моим рабом, моей игрушкой. Ты находил высочайшее наслаждение в том, чтобы получать

пинки, удары хлыстом от высокомерной, жестокой женщины.

Так чего же ты хочешь теперь?

Во мне дремали опасные наклонности — ты пробудил их. Если я нахожу теперь удовольствие в том, чтобы мучить, оскорблять тебя, — виноват в этом ты один! Ты сделал меня такой, какова я теперь, и ты так малодушен, бесхарактерен и жалок, что обвиняешь *меня*.

— Да, я виноват. Но я достаточно настрадался из-за этого. Теперь оставь это, довольно, прекрати жестокую игру!

— Этого я и хочу, — сказала она, посмотрев на меня каким-то странным, неискренним взглядом.

— Не доводи меня до крайности, Ванда! — нервно воскликнул я. — Ты видишь, теперь я снова мужчина.

— Пожар, вспыхнувший в соломе! Забушует на мгновение и потухнет так же быстро, как и загорелся. Ты думаешь вернуть себе мое уважение, но ты мне только смешон. Если бы ты оказался тем, за кого я тебя приняла вначале, — человеком серьезным, глубоким, строгим, — я преданно любила бы тебя и сделалась бы твоей женой.

Женщине нужен муж, на которого она могла бы смотреть снизу вверх, а такого, который — как ты — добровольно подставляет спину, чтобы она могла поставить на нее ноги, — такого она берет, как занятную игрушку, и бросает прочь, когда он наскучит.

— Попробуй только бросить меня! — насмешливо сказал я. — Бывают опасные игрушки...

— Не выводи меня из себя! — воскликнула Ванда. Глаза ее сверкали, лицо покраснело.

— Если ты не будешь больше моей, то пусть не будешь ничьей! — продолжал я глухим от ярости голосом.

— Из какой пьесы эта сцена? — с издевкой спросила она и, вся вдруг побледнев от гнева, схватила меня за грудки. — Не выводи меня из себя! Я не жестока, но кто знает, до чего я способна дойти и сумею ли тогда удержаться в границах...

— Какое еще большее зло ты можешь причинить мне, как если не сделать его своим любовником, своим супругом? — крикнул я, разгораясь все больше и больше.

— Я могу заставить тебя быть его рабом, — быстро проговорила она. — Разве ты не весь в моей власти? Разве у меня нет договора? Но для тебя, конечно же, будет только наслаждением, если я велю тебя связать и скажу ему: «Делайте с ним теперь, что хотите!»

— Ванда, ты с ума сошла! — воскликнул я.

— Я в полном уме, — спокойно ответила она. — Предостерегаю тебя в последний раз. Не оказывай мне сейчас сопротивления. Теперь, когда я зашла так далеко, я могу пойти еще дальше. Я почти ненавижу тебя теперь, я могла бы с истинным удовольствием смотреть, как он избил бы тебя до смерти... Пока я еще обуздываю себя, пока...

Едва владея собой, я схватил ее за руку выше кисти и пригнул ее к земле так, что она упала передо мной на колени.

— Северин! — воскликнула она, и на лице ее отразились бешенство и ужас.

— Я убью тебя, если ты сделаешься его женой. — Угроза вырвалась из груди моей глухим и хриплым звуком. — Ты моя, я не отпущу, не отдам тебя — я слишком люблю тебя!

Я обхватил рукой ее стан и крепко прижал ее к себе, а правой рукой невольно схватился за кинжал, все еще торчавший у меня за поясом.

Ванда устремила на меня долгий, невозмутимо-спокойный, непонятный взгляд.

— Таким ты нравишься мне, — спокойно проговорила она. — Теперь ты похож на мужчину, и сейчас я чувствую, что еще люблю тебя.

— Ванда! — От восторга у меня выступили слезы на глаза. Я склонился к ней, покрывая поцелуями ее очаровательное личико, а она, вдруг залившись звонким, веселым смехом, сказала:

— Довольно с тебя наконец твоего идеала? Доволен ты мной?

— Что ты... говоришь? Не серьезно же ты...

— Серьезно то, что я люблю тебя, одного тебя! — весело продолжала она. — А ты, милый, глупый, не замечал, не понимал, что все это была только шутка, игра... не видал, как трудно зачастую бывало мне наносить тебе удар, в то время как мне так хотелось обнять твою голову и поцеловать тебя...

Но теперь все это кончено, кончено — правда? Я лучше справилась со своей жестокой ролью, чем ты ожидал от меня, теперь ты будешь рад обнять свою добрую, умненькую и... хорошенькую женочку — правда? Мы заживем...

— Ты будешь женой моей! — воскликнул я, не помня себя от счастья.

— Да, женой... дорогой мой, любимый... — прошептала Ванда, целуя мои руки.

Я поднял ее и прижал к себе.

— Ну вот, ты больше не Григорий, не раб — ты снова мой Северин, дорогой муж мой...

— А он... его ты не любишь? — взволнованно спросил я.

— Как мог ты поверить, что я люблю этого грубого человека! Но ты был в ослеплении... Как болело у меня сердце за тебя!

— Я готов был покончить с собой...

— Ах, я и теперь дрожу при одной мысли, что ты уже был в Арно...

— Но ты же меня и спасла! — нежно воскликнул я. — Ты пронеслась над рекой и улыбнулась — твоя улыбка вернула меня к жизни.

* * *

Странное чувство я испытываю теперь, когда держу ее в объятиях и она, тихая, молчаливая, покоится у меня на груди, позволяет себя целовать и улыбается...

Мне кажется, что я вдруг пришел в себя после лихорадочного бреда или что я, после кораблекрушения, после многодневной борьбы

с волнами, ежеминутно грозившими поглотить меня, вдруг оказался наконец выброшенным на сушу.

* * *

— Ненавижу эту Флоренцию, где ты был так несчастлив! — сказала она, когда я уходил, желая ей покойной ночи. — Я хочу уехать отсюда немедленно, завтра же. Будь добр, напиши вместо меня несколько писем, а я тем временем съезжу в город и покончу с прощальными визитами. Согласен?

— Конечно, конечно, милая, добрая моя женошка, красавица моя!

* * *

Рано утром она постучалась в мою дверь и спросила, хорошо ли я спал. Как она очаровательно добра и приветлива! Никогда бы не подумал, что кротость ей так к лицу.

* * *

Вот уже больше четырех часов, как она уехала; я давно окончил письма, сижу в галерее и смотрю на улицу, не покажется ли вдали ее коляска.

Мне становится немного тревожно, хотя, видит Бог, у меня нет никакого повода для сомнений или опасений. Но что-то давит мне грудь, не могу от этого отделаться. Быть может, это страдания минувших дней омрачают мою душу и никак не оставят меня...

* * *

Вот и она — вся сияющая счастьем, довольством.

— Все хорошо? — спросил я, нежно целуя ее руку.

— Да, моя радость, сегодня ночью мы уедем. Помоги мне уложить чемоданы.

* * *

Когда наступил вечер, она попросила меня съездить на почту, отправить ее письма. Я взял ее коляску и через час вернулся.

— Госпожа спрашивала вас, — улыбаясь, сказала мне негритянка, когда я подымался по широкой мраморной лестнице.

— Был кто-нибудь?

— Никого не было, — ответила она и усе-лась на ступеньках, сжавшись в комок, словно черная кошка.

Я медленно прохожу через зал и останавливаюсь у двери ее спальни.

Тихо отворив дверь, я раздвигаю портьеру. Ванда лежит на оттоманке и, по-видимому, не замечает меня. Как хороша она в серебристо-сером шелковом платье, предательски облегающем ее дивные формы, оставляя обнаженными прекрасные грудь и руки.

Волосы ее подхвачены продетой в них черной бархатной лентой. В камине пылает яркий огонь, фонарик проливает свой красный свет, вся комната словно утопает в крови.

— Ванда! — окликаю я ее наконец.

— О Северин! — радостно восклицает она. — Как нетерпеливо я ждала тебя!

Она вскочила, крепко обняла меня, затем снова опустилась на великолепные подушки и хотела привлечь меня к себе, но я мягко опустился к ее ногам и положил голову ей на колени.

— Знаешь... я сегодня очень влюблена в тебя. — Прошептав это, она отвела с моего лба упавшую прядку волос и поцеловала меня в глаза. — Как хороши твои глаза! Они всегда мне нравились в тебе больше всего, а сегодня они меня совсем опьяняют... Я изнемогаю...

Она потянулась всем своим прекрасным телом и нежно блеснула глазами из-под полусомкнутых ресниц.

— А ты... ты совсем холоден... словно в руках у тебя не я, а полено... погоди же, ты у меня вновь сделаешься влюбленным!

И она снова прильнула, ласкаясь и лаская, к моим губам.

— Я не нравлюсь тебе больше! Мне надо, по-видимому, снова стать жестокой — сегодня я слишком добра к тебе. Знаешь, глупенький, я немножко побью тебя хлыстом..

— Перестань, дитя...

— Я так хочу!

— Ванда!

— Поди сюда, дай мне связать тебя... — Она шаловливо пробежала через всю комнату. — Я хочу видеть тебя влюбленным — по-настоя-

щему, понимаешь? Вот и веревки. Только сумею ли я еще?

Она начала с того, что связала мне ноги, потом крепко скрутила руки за спиной, потом связала меня всего, как преступника.

— Вот так! — весело и удовлетворенно сказала она. — Пошевелинуться можешь еще?

— Нет.

— Отлично.

Затем она сделала петлю из толстой веревки, набросила ее на меня через голову, спустила до самых бедер, потом плотно стянула петлю и привязала меня к колонне.

Необъяснимый ужас охватил меня в эту минуту.

— У меня такое чувство, точно мне предстоит казнь, — тихо сказал я.

— Сегодня ты и должен хорошенько отведать хлыста! — воскликнула Ванда.

— Тогда надень и меховую кофточку, прошу тебя.

— Это удовольствие я могу доставить тебе, — ответила она, доставая кацавейку, и, улыбаясь, надела ее.

Затем, сложив руки на груди, она остановилась, глядя на меня полузакрытыми глазами.

— Знаешь ли ты историю о быке тирана Дионисия? — спросила она.

— Смутно припоминаю, а что?

— Один придворный изобрел для тирана Сиракузского новое орудие пытки — железного быка, в который запирался приговоренный

к смерти и который ставился затем на огромный пылающий костер.

Когда железный бык накалялся и приговоренный начинал в муках кричать, казалось, что это ревет сам бык.

Дионисий одарил изобретателя милостивой улыбкой и, желая тут же испытать его изобретение, приказал первым заключить в железного быка самого изобретателя.

История эта чрезвычайно поучительна.

Ты привил мне эгоизм, высокомерие, жестокость — *пусть же ты сделаешься первой жертвой* своего злого дела. Теперь я действительно нахожу удовольствие, сознавая свою власть, злоупотребляя властью над человеком, одаренным умом, чувством и волей, как и я, — над мужчиной, который умственно и физически сильнее меня, и в особенности... в особенности над человеком, который любит меня.

Любишь ты меня?

— До безумия! — воскликнул я.

— Тем лучше... Тем большее наслаждение доставит тебе то, что я хочу сейчас с тобой сделать...

— Что ты задумала? Я не понимаю тебя... В глазах твоих сегодня действительно сквозит жестокость... и ты так изумительно хороша... Совсем, совсем «Венера в мехах»...

Ничего не ответив, Ванда обвила мою шею рукой и поцеловала меня.

В этот миг меня снова охватил могучий, фанатический взрыв страсти.

— Где же хлыст? — спросил я.

Ванда засмеялась и отступила на два шага.

— Так ты во что бы то ни стало хочешь отведать хлыста? — воскликнула она, надменно вскинув голову.

— Да.

В одно мгновение лицо Ванды совершенно изменилось, точно исказилось гневом, — на миг она даже показалась мне некрасивой.

— В таком случае возьмите хлыст! — громко воскликнула она.

В ту же секунду полог ее кровати раздвинулся и показалась черная курчавая голова грека.

Вначале я онемел, оцепенел. Положение было до омерзительности комично. Я сам громко расхохотался бы, если бы все это не было в то же время так прискорбно и так позорно для меня.

Это превосходило все мои фантазии. Дрожь пробежала у меня по спине, когда я увидел своего соперника в его высоких верховых сапогах, в узких белых рейтузах, в щегольской бархатной куртке... и взгляд мой остановился на его атлетической фигуре.

— Вы в самом деле жестоки, — сказал он, обернувшись к Ванде.

— Я только жажду наслаждений, — ответила она с неудержимым юмором. — Одно наслаждение — делать жизнь ценной. Кто наслаждается, тому тяжело расставаться с жизнью; кто страдает или терпит лишения, тот приветствует смерть, как друга.

Но кто хочет наслаждаться, тот должен принимать жизнь весело — в том смысле, как это понимали древние: его не должно страшить наслаждение, полученное за счет страданий других, он никогда не должен знать жалости, он должен запрягать других, как животных, в свой экипаж, в свой плуг; людей, чувствующих и жаждущих наслаждений так же, как и он сам, — превращать в своих рабов; без сожаления, без раскаяния использовать их — ради своей же выгоды, своего удовольствия, не задумываясь о том, хорошо ли они себя при этом чувствуют, не погибают ли они.

Всегда он должен помнить одно, одно твердить себе: если бы я был в их руках, они бы так же поступали со мной, и мне пришлось бы оплачивать их наслаждения своим потом, своей кровью, своей душой.

Таков был мир древних. От века наслаждение и жестокость, свобода и рабство шли рука об руку. Люди, желающие жить подобно олимпийским богам, должны иметь рабов, которых они могут бросать в свои пруды, гладиаторов, которых они заставляют сражаться во время своих роскошных пиров, — и не принимать близко к сердцу, если на них при этом брызнет немного крови.

Ее слова совершенно отрезвили меня.

— Развяжи меня! — гневно крикнул я.

— Разве вы не раб мой, не моя собственность? Не угодно ли, чтобы я показала вам наш договор?

— Развяжите меня! — громко и с угрозой вновь крикнул я. — Иначе... — И я рванул веревки.

— Может он вырваться? Как вы думаете? Ведь он грозил убить меня.

— Не беспокойтесь, — ответил грек, потрогав мои узлы.

— Я позову на помощь...

— Никто не услышит вас, и никто не помещает мне снова глумиться над вашими священнейшими чувствами и недостойно играть вами... — говорила Ванда, повторяя с сатанинской усмешкой фразы из моего письма к ней. — Находите вы меня в эту минуту только жестокой и безжалостной — или я собираюсь сделать *низость, пошлость!* Говорите же. Любите вы меня еще или уже только ненавидите и презираете? Вот хлыст, возьмите. — Она протянула его греку, быстро подошедшему ко мне.

— Не смейте! — крикнул я, весь дрожа от негодования. — Вам я не позволю...

— Это вам только кажется — оттого, что на мне нет мехов... — с невозмутимой улыбкой проговорил грек и взял с кровати свою короткую соболью шубу.

— Я от вас в восторге! — воскликнула Ванда, поцеловав его и помогая ему надеть шубу.

— Вы хотите, чтобы я в самом деле избил его хлыстом?

— Делайте с ним что хотите! — ответила она.

— Животное! — закричал я, не помня себя.

Грек окинул меня своим холодным взглядом тигра и взмахнул хлыстом, чтоб испробовать его, хлыст со свистом рассек воздух, мускулы грека напряглись... А я был привязан, как Марсий, и вынужден был смотреть, как Аполлон собирается сдирать с меня кожу...

Блуждающий взор мой обежал комнату и остановился на потолке, где филистимляне ослепляли Самсона, лежащего у ног Далилы. Картина показалась мне в ту минуту неким символом — ярким и вечным символом страсти, сладострастия, любви мужчины к женщине.

«Каждый из нас, в сущности, тот же Самсон, — думал я, — и каждому из нас так или иначе изменяет в конце концов женщина, которую он любит, — носит ли она лохмотья или собольи меха».

— Ну-с, поглядите теперь, как я буду дрессировать его.

У него сверкнули зубы, и лицо его приняло то кровожадное выражение, которое испугало меня при первой же встрече с ним.

И он начал стегать меня — так беспощадно, так ужасно, что я съеживался под каждым ударом и от боли начал дрожать всем телом... слезы ручьями текли у меня по щекам...

А Ванда лежала в своей меховой кофточке на оттоманке, опираясь на руку, и, глядя на меня с жестоким любопытством, покатывалась со смеху.

Нет сил, нет слов описать это чувство унижения, когда вас мучит счастливый соперник... на глазах боготворимой женщины!..

Я изнемогал от стыда и отчаяния.

И что самое позорное — вначале я находил какую-то фантастическую, сверхчувствительную прелесть в своем жалком положении, под хлыстом Аполлона и под жестокий смех моей Венеры.

Но Аполлон удар за ударом вышиб из меня всю эту дикую поэзию, и я наконец, стиснув зубы в бессильной ярости, проклял и себя, и сладострастную фантасмагорию, и женщину, и любовь.

Теперь только я вдруг увидел с ужасающей ясностью, куда заводит мужчину, от Олоферна и Агамемнона, слепая страсть, разнузданное сладострастие — в мешок, в сети предательницы-женщины... горе, рабство и смерть несет она ему.

Мне казалось, что я пробудился ото сна.

Кровь уже выступала у меня под его хлыстом, я извивался, как червь, которого давят ногой, а он все продолжал хлестать без жалости и пощады, и она продолжала смеяться без жалости и пощады, запирая в то же время на замки уложенные чемоданы, надевая дорожную шубу, и смех ее еще звучал, когда она, под руку с ним, сходила с лестницы и усаживалась в коляску.

Потом на минуту все стихло.

Я прислушивался, затаив дыхание.

Вот захлопнулась дверца экипажа, лошади тронулись... еще несколько минут доносился стук колес...

Все было кончено.

* * *

С минуту я думал о мести, хотел убить его, — но ведь я был связан проклятым договором. Мне ничего другого не оставалось, как оставаться верным слову и стискивать зубы.

* * *

Первым моим чувством после пережитой жестокой катастрофы была страстная жажда трудов, опасностей, лишений. Мне хотелось пойти в солдаты и отправиться в Азию или в Алжир, но мой отец был стар и болен и потребовал меня к себе.

И вот я тихо вернулся на родину и в течение двух лет помогал отцу нести заботы, вести хозяйство, учился всему, чего не знал еще до сих пор, и томительно — как живительного глотка свежей воды — жаждал труда, работы, исполнения обязанностей.

Через два года отец умер, и я стал помещиком, но в моей жизни это ничего не изменило. Я сам надел на себя трудовые колодки и жил и потом так же разумно, как если бы мой старик по-прежнему стоял у меня за спиной и смотрел через мое плечо своими большими умными глазами.

Однажды я получил по почте какой-то ящик и с ним письмо.

Я узнал почерк Ванды.

Со странным волнением вскрыл я его и прочел:

«Милостивый государь!

Теперь, когда прошло больше трех лет после той ночи во Флоренции, я могу наконец признаться Вам, что очень любила Вас, но Вы сами задушили мое чувство своей фантастической рабской преданностью, своей безумной страстью.

С той минуты, когда Вы сделались моим рабом, я почувствовала, что не могу быть Вашей женой, но меня уже тогда увлекла мысль осуществить для Вас Ваш идеал и, быть может, излечить Вас, — притом самой наслаждаясь восхитительной забавой...

Я нашла того сильного мужчину, которого искала, который мне был нужен, — и я была с ним так счастлива, как только можно быть счастливым на этом смешном комке глины, на нашем земном шаре.

Но счастье мое — как и всякое человеческое счастье — было недолговечно. Около года тому назад он погиб на дуэли, и с тех пор я живу в Париже жизнью Аспазии.

А как Вы? В Вашей жизни, я думаю, нет недостатка в ярком свете, если только Ваша фантазия потеряла свою власть над Вами и развернулись те свойства Вашего ума и Вашей души, которые так сильно привлекли меня вначале, — ясность мысли, мягкость сердца и, главное, *нравственная серьезность*.

Я надеюсь, что Вы выздоровели под моим хлыстом. Лечение было жестоко, но радикально. На память о том времени и о женщине,

страстно любившей Вас, я посылаю Вам картину бедного немца.

„Венера в мехах“».

Я не мог не улыбнуться.

И, глубоко задумавшись о минувшем, я вдруг живо увидел перед собой прекрасную женщину в опушенной горностаем бархатной кофточке, с хлыстом в руке... и вновь усмехнулся — и над женщиной, которую так безумно любил, и над меховой кофточкой, так восхищавшей меня когда-то, и над хлыстом... усмехнулся, наконец, и над своими собственными страданиями и сказал себе:

— Лечение было жестоко, но радикально. И главное — я выздоровел.

* * *

— Ну-с, какова же мораль этой истории? — спросил я Северина, положив рукопись на стол.

— Та, что я был осел, — отозвался он, не поворачивая головы: он как будто стыдился. — Если бы я только догадался ударить ее хлыстом!

— Курьезное средство! — заметил я. — Для твоих крестьянок оно могло бы еще...

— О, эти привыкли к нему! — с живостью воскликнул он. — Вообрази себе только его действие на наших изящных, нервных, истеричных дам...

— Какова же мораль?

— Что женщина, какой ее создала природа и какой ее воспитывает в настоящее время

мужчина, является его врагом и может быть только или рабой его, или деспотом, но ни в коем случае не подругой, не спутницей жизни. Подругой ему она может быть только тогда, когда будет всецело уравнена с ним в правах и будет равна ему по образованию и в труде. Теперь же у нас только один выбор: быть молотом или наковальней. И я, осел, был так глуп, что согласился стать рабом женщины, понимаешь? Отсюда мораль истории: кто позволяет себя хлестать, тот заслуживает того, чтобы его хлестали. Мне эти удары послужили, как видишь, на пользу — в моей душе рассеялся розовый метафизический туман, и теперь никому никогда не удастся заставить меня принять священных обезьян Бенареса* или петуха Платона** за живое подобие Божие.

* Так называет женщин Артур Шопенгауэр.

** Диоген бросил ощипанного петуха в школу Платона и воскликнул: «Вот вам человек Платона!».

СОДЕРЖАНИЕ

«Венера в мехах» и ее автор. <i>Л. Н. Полубояринова</i> . . .	5
ВЕНЕРА В МЕХАХ	29

Литературно-художественное издание

ЛЕОПОЛЬД ФОН ЗАХЕР-МАЗОХ
ВЕНЕРА В МЕХАХ

Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Корректоры Ольга Крылова, Нина Тюрина
Верстка Алексея Соколова

Подписано в печать 10.10.2011. Формат издания 76 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Гарнитура «Петербург». Тираж 4000 экз.
Усл. печ. л. 9,87. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ЗАО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел. (495) 933-76-00, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел: (812) 324-61-49, 388-94-38, 327-04-56, 321-66-58, факс: (812) 321-66-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru; atticus@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01
E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Сайты в интернете:

www.azbooka.ru, www.atticus-publishing.ru



КАКВ730302R